

К1425583

Вес



И. ПОЛУЯНОВ

В ЗЕЛЁНОМ ОКОНЦЕ

И. ПОЛУЯНОВ



В ЗЛАФНОМ ОКОНЦЕ

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

АРХАНГЕЛЬСК

1964

Очень многим обязан человек родной природе, и любовь к ней воспитывается с детства. Но чтобы любить и беречь природу, надо ее знать. Сборник рассказов «В зеленое оконце», рассчитанный на детей младшего и среднего школьного возраста, приобщит юных читателей к некоторым интересным тайнам лесных обитателей, познакомит с людьми, знающими и наблюдательными, поведаст о приключениях на таежных тропах.

Когда ерши играют в чехарду? Почему мальчика Толю прозвали «Мазаем»? Где находится «край непуганных птиц»? В чем состоит тайна стрекозино крыла?.. Об этом и многом другом рассказывается в книге.

И. Полуянов — член Союза писателей РСФСР, автор нескольких книг для детей.

Иван Дмитриевич Полуянов
В ЗЕЛЕНЕЕ ОКОНЦЕ

Редактор В. М. Малков
Техн. редактор С. И. Соколова
Художник С. А. Теленков

ГЕ00360. Подписано к печати 22.5.1964 г. Бумага 84 × 108¹/₃₂.
Бумажных л. 2,0 Печатных л. 6,56. Уч.-изд. л. 5,63.
Тираж 15 000. Цена 27 коп. Заказ 2450.

Областная типография, Вологда, ул. Калинина, 3.



ВЕСНУШКИ



КАПЕЛЬ

ВЕТРЕНО, морозно. Порой кружит по полям шальная метель, до стерни сдувая снег со жнивья. Провода гудят уныло. Вот тебе и конец февраля — что-то не похоже, что зима на исходе.

Распогодится, и при солнце и ясном небе не поймешь: то ли по-вчерашнему морозит, то ли притаивает?

К полудню все же закапало с крыш, с синих простуженных сосулек.

Да что — капля? Воробью на глоток!

...Глухо по-зимнему под хвойными сводами леса, седого от инея и снега. Шевеля по ветру кронами, сосны потягиваются сонно.

И вдруг:

— Чик-чок, чок-чок!

Будто крохотный молоточек кует да кует.

Знать, растопило где-то на пригреве снежную навись, затаил иней. С хвойных игл, с мокрых березовых почек нет-нет да и сорвется светлая капля, выбьет на снегу льдистую лунку.

— Чик-чок! Чик-чок!

Чудесница-капель первая ломает хребет зиме. Непроста стучит-вызванивает по снегам, по сугробам.

Разбуженные ее стуком, просыпаются травы. Зазеленели, тронулись в рост подснежники: голубая пролеска и белая ветреница, чистяк и медуница, пряча в пазушках листьев будущие цветы. Бывает, снег не сойдет, а чистяк напролом прет сквозь его рыхлую, исто-

ченную капельную пелену, буравит корку наледи в нетерпении выставить под солнце свою желтую метелочку. Бывает, рядом, с подтаявшим осевшим сугробом на сухой прогалине качаются лазуревые пролески...

...Стучит неугомонная капель. День ото дня зазорней, все звончей бьют серебряные молоточки, куют победу над постылой зимой, вьюгами да морозами.

ВЕСНУШКИ

У ОЛЬХИ на ветках — коричневые круглые шишечки. Это кладовые. В них дерево хранит свои семена. Ольха до поры до времени не раскроет кладовых: ветер бьет шишечки, выдувает семена и ничего не добьется. Мороз стучит — не достучится.

Поворотит солнце с зимы на весну, начнет пригревать — теплые лучи, как золотые ключики, отомкнут кладовые.

Семена рыжеватые, и снег под ольхой сплошь в веснушках.

С ПОЛИЧНЫМ

ЛЕВЫЙ склон оврага пологий, зарос малинником, кустами черемухи, ольхой. Правый — крут, обрывист, в оползнях. По кромке берега рыжие сосны клонятся вершинами, с любопытством заглядывают вниз, на шумный поток, который то прыгает по камням, заплескивая на берега мутные брызги, то ныряет под толщу снега, навьюженного в овраг.

Обозначилась на снегу лисья дорожка. Красная, — мало ли песку выносила из норы лисица лапками за долгую зиму!

Кроме лисиц живут в норах по оврагу барсуки, а позапрошлым летом тут видали енотовидную собаку. Енот куда-то подевался, лисы же и барсуки как бы постоянно здесь прописаны.

Лисьи следы на снегу пересечены другими следками. Эти как беличьи, но размером мельче вдвое.

Стало быть, бурундук пробежал. Наверно, к ручью напиться.

Как и барсук, зимой бурундук — земляной затворник. Его и зовут «земляной белкой». Нора у него расположена где-нибудь поукомпнее — под кучей хвороста, навалом бурелома, трухлявым пнем. Если он по снегу пробежки делает, значит кончилась для него зимняя спячка.

Продвигаясь вперед, я глазами обшаривал валежник и кусты. Бурундук по своим повадкам — презанятный зверек. Я надеялся на встречу с ним. Он человека мало боится, однако побережись мне не мешает. Интереснее понаблюдать за лесным обитателем, когда он о твоём присутствии не догадывается, застать его за своими делами врасплох.

Да вот и бурундук — легок на помине!

Я прислонился плечом к елке, сучья укрыли меня с головой. Достал я бинокль и навел на зверька, хлопотавшего возле кучи хвороста. Бурундук рыжеват, с пятью четкими продольными полосами на спине. Белые пятна на круглой потешной мордочке напоминают очки. Пальцы передних лап словно в маникюре — в песке их бурундучишка испачкал. Под хворостом у него была нора. Он исчезал в ней с завидным проворством, чтобы через минуту появиться с забавно раздутыми щеками.

Бурундук запаслив. Его нора — настоящая кладовка. Чего-чего в ней нет — тут и семена трав, и корешки, и сушеные ягоды, и грибы. Все разложено по кучкам, точно в заправском складе, вместо перегородок — сухие листья.

Я застал бурундука за ревизией продовольственных запасов. Он носил их из норы подсушить на ветерке и солнцепоке. Он таскал поклажу во рту, в защечных мешках. Видали такого носильщика!

Я приблизился. Бурундук как раз выскочил из-под хвороста. Увидев возле склада постороннего, он сел на задние лапки, вытянув хвостик, и пронзительно зашвыстал.

— Ладно, ладно! — засмеялся я. — Обойдемся без милиции, не свисти. Не ограблю!

Его мордочка выражала и испуг, и крайнее удивление.

И принялся бурундучишка себя по щекам барабанивать! С самым сокрушенным видом надавал себе оплеух. Казалось, хотел этим сказать: «Ах, опростоволочился! Ах, как я попался!»

Изю рта его так и брызнули к моим ногам пшеничные зерна.

— Воришка! — бросился я за пустившимся наутек бурундуком. — Держи полосатого!

Ведь он зерна с колхозного поля украл, не иначе.

Подняв хвостик, бурундук стремглав пролетал по замшелой колодине и шмыгнул в кусты.

У валежника остались рассыпанные зерна, кучка сушеной черемухи и вяленый опенок...

КОГДА ЕЖИ ПОЮТ...

У ПОДНОЖИЙ деревьев земля вытаяла черными кругами, и сосны, березы, елки оказались будто на подставках. Кто ждет весну, видит в этом примечательный знак: пусть в силе еще зима — переступить эти вот черные круги ей не дано власти.

А ночи начала апреля заставляют-таки вспомнить зимние стужи!

После заката угрюмые чащи, захламлинные гары, болота, на которых темнеют вытаявшие кочки, боры и рощи погружаются в темень и знобкий холод. И звезды мерцают по-зимнему колюче, и тени под луной резки, таят в себе стужу. Закован лес в тишину.

И вдруг как вспыхнут на вершине лохматой ели огненные зеленые очи, как ухнет из непроглядного хвойного мрака:

— Бу-бу-бу-у-у!

От дикого вскрика, сменяемого то жутким шипеньем, то костяным щелканьем и скрипом, даже неробкого мороз по коже подерет.

Между прочим, ничего страшного. Это — филин. Подал он голос, значит, почуял весну. Только и всего!

Близ гумен, кладей льна, соломенных скирд, по полям и покосам держится зверек горноста́й. Мал да смел, гибкий, как змея, пронырливый хищник. И лют же

горноста́й, до чего лю́т! Уго́див в охотни́чий ка́пкан, горноста́й не́редко отгры́зает себе ла́пку. Чтобы́ и она́ не доста́лась охотни́ку, горноста́й ее съеда́ет, чего́ не делают дру́гие зве́ри. Напа́сть на до́бычу, по разме́рам, пре́вышающую́ его́ в не́сколько раз, — и это́ за горноста́ем е́сть. Если́ его́ раздразни́ть, то зве́рек не отсту́пит, да́же пе́ред че́ловеком. Шипи́т, зло́бно ска́ля зу́бы, стре́кочет — то́ и гя́ди, уку́сит!

За́то а́прельскими́ но́чами, одо́леваемый́ ве́шней исто́мой, горноста́й и та́нцует, и по́ет. Сто́я столби́ком, распу́шив хвост, за́думчи́во пока́чивается он из сто́роны в сто́рону, кивка́ми го́ловы отме́чая такты́ од́ному́ ему́ слы́шимой му́зыки. Пе́редние ла́пки сми́ренно сло́жены. Во́т начина́ет горноста́й пла́вно, ва́жно ва́льсировать́. Все стре́мительней, одержи́мей кру́жится он в та́нце, чтобы́ не́ожиданно припа́сть пото́м на ла́пы и испу́стить тре́скачу́ю тре́ль.

По́зднее, ко́гда сойду́т сне́га, разо́лются ре́ки, в солне́чных за́тишках смо́листо запа́хнет хвое́й и поч́ками — и в э́ту пору́, случи́тся, уда́рят заморо́зки.

Если́ холо́да-утренни́ки впе́ред не гро́зят, о то́м соо́бщают е́жи.

На́двинув на ло́б ко́лючки, отче́го уми́льная морда́шка обрета́ет ви́д коми́чески-стро́гий, е́ж но́чами ша́стает поokraйке ро́щ, посту́кивает ко́готками́ на уто́панных су́хих тро́пах, шу́ршит па́лым листом.

Встре́тились два ко́лючих ша́рика на ко́ротких ла́пках — е́ж и е́жиха. Усе́лись бо́чком дру́г к дру́гу. Не́долго жда́ть те́перь их дуэ́та, сейча́с запо́ют.

Но́ что э́то за дуэ́т — ве́сь состо́ит из пы́хтенья́, сви́стящего́ щелка́нья да ви́зга! А ве́дь в него́ е́жики вкля́дывают, та́к сказа́ть, всю́ ду́шу. И́ не пото́му ли изда́ли их пе́сня зву́чит мя́гко, с не́повтори́мой но́визной и пре́лестью? За́пели е́жи — ко́нec холо́дам.

«СЕРЫЕ»

НА́СТ бы́л тве́рд и про́чен. Про́бив его́ хру́сткую ко́ру, ло́сиха рас́капы́вала сне́г до зе́мли и губа́ми нащупыва́ла ле́дяные же́сткие сте́бли хво́ща. Кор́милась вдво́йне насто́роже: и пото́му что отби́лась от

стада, и потому что была стельная. Из вырытой в снегу глубокой воронки бил в ноздри дурманящий запах багульника, наносило торфом, брусникой и древесной трухой.

Обширная белая равнина вспыхивала искрами. Ели казались вылитыми из серебра с чернью. Чудилось, что и луна, и снега, и стена мохнатых елей отражают предутреннее безмолвие. Лосиха не доверяла тишине. Для ее чутких ушей тишины, собственно, не существовало.

К окраине болота, по прозрачному, напоенному луной, голубому воздуху, за многие километры доносился лязг рельсов, гром колес поезда, вой машины, преодолевающей на тракте ухабы, и пение петухов из деревни. Это привычные звуки, с ними лосиха сроднилась.

Прежде чем лечь на отдых, она долго поводила ушами. Наконец поджала передние ноги и бережно опустилась грузным животом на снег.

Лунный зыбкий свет беспокоил. Рождались в нем туманные видения: осенний лес в запахе палой листвы, ручьи с темной терпкой водой, стальные зори над болотами, ромашковые луга. И люди... Лосиха часто видела осенью людей. Они приходили в лес с железнодорожного разъезда — за грибами, ягодами. Встретив лосиное стадо, они кричали и размахивали корзинами. Но было видно, что лоси, особенно старый вожак стада, внушают людям любопытство, смешанное с восторгом, — к дикой стати лосей, к исполинскому их росту, к силе, с какой стадо в топоте копыт вихрем уносилось в гущу леса, сокрушая на своем пути заросли ивыняка, прыжками перелетая через завалы бурелома.

И подремывая, лосиха поминутно поднимала уши. В глубине затененного ресницами зрачка переливался мерцающий лунный отблеск. Внезапно лосиха вскочила. Грохоча настом под копытами, перемахнула поляну и прижалась к стволу ели, вся дрожа и напрягаясь.

Под нависью хвои ничто не предвещало беды. Между тем беда приближалась — вкрадчивым поскрипыванием снега, мельканьем когтистых лап...

Волков было трое.

Они кинулись на лосиху скопом, прямо с ходу.

Зубами, копытами передних ног, удар которых, достигши он цели, снес бы череп и медведю, лосиха отразила натиск врагов, не подпустила их до себя. Позиция, занятая ею под елкой, оказалась неприступной. Лосиху страшило нападение сзади, а с этой стороны ее прикрывал ствол дерева, ошетиленный сучьями. Она всхрапывала, раздувая ноздри от ярости, рыла снег передним копытом.

Волки поодаль легли за кусты.

Потом серые повторили атаку. Бросились, как показалось лосихе, в аккурат под задние копыта, но неожиданно трусливо повернули назад. Они заманивали лосиху за собой, и она поддалась на их уловку. Чуть отступила от ели, взвилась на дыбы, чтобы обрушиться на зазевавшегося заднего волка. Он увильнул, коротко прыгнув вбок. Мотая мордой, скаля зубы и щетиня шерсть на загривке, лосиха шагнула, пытаясь достать его копытом, а в этот миг два других волка с неуловимой стремительностью бросились на нее с тыла, не защищенного теперь стволом дерева.

Клыки серых зверей оставили на бедрах рваные раны. Кровь брызнула на снег. Лосиха стряхнула с себя волков и, безумея от боли и страха, прыжками понеслась в чащу.

Серые звери молча покатались следом. Наст держал их, они скакали по нему, точно по ровному полу, в то время как под тяжелым телом и острыми копытами лосихи наст проламывался при каждом прыжке. Не прошло и нескольких минут погони, а лосиха начала сдавать. Проломы в заледенелом насте царапали в кровь, ранили ноги, сдирали кожу на коленях и животе.

Лосиха заспотыкалась. С морды западали хлопья пены. Раз или два она хватила снегу.

И при выходе из лесу в поля остановилась, тяжело поводя боками. Шаталась, натужно кашляла.

Беспомощность жертвы придала преследователям наглости. Один из волков прыгнул, намереваясь перекусить лосихе сухожилия задних ног. Отпрянула лосиха. Волк повторил нападение. И встретил удар копыта. Копыто пронзило его насквозь. Волк, обливаясь кровью, замертво распластался на снегу. Как безумная, забыв про усталость, лосиха топтала труп, пока

от него не осталось лишь черное под луной окровавленное пятно. Но когда она двинулась наискось по полю, оставшиеся два волка последовали за ней.

Наст в поле был крепче, плотнее, чем в лесу, снег глубже, и лосиха увязала по самый живот, израненные ноги закровоточили.

Опустив морду, горбясь, лосиха перешла на шаг. Ее шатало. Волки, не отставая, трусили сзади ленивой рысцей.

Вдруг копыта встали на что-то твердое, безопасное. Лосиха выбрела на припорошенную снегом дорогу, по которой на поле зимой вывозили навоз. Дорога пахла человеком и конским потом.

Собрав остаток сил, лосиха ударила по дороге размашистой иноходью. Волки сперва стлались прыжками рядом, забегали вперед, но вынуждены были отстать, когда пахнуло деревней, когда по глазам ударил им свет из окон изб.

Лосиха перепрыгнула изгородь. Оставляя на дороге капли крови, метнулась к какой-то избе на околице, одним махом перелетела через другую изгородь и очутилась во дворе. Прислонилась боком к бревенчатой стене хлева. Ноги тряслись мелкой дрожью и подгибались. Лосиха упала. Бока ее вздымались и опадали от свистящего прерывистого дыхания...

* * *

— Марфута, говори: «Слава богу!»

Жидкая, сквозящая бороденка Осипа дрожала, зуб на зуб не попадал.

— Говори: «Слава богу»... Чо-о? Не проснешься никак! — зашипел он, тыча старуху кулаком в бока. — Встань ты-и, очнись!

Марфа, борясь со сном, зевала, чесала всклокоченную голову. В избе было темно, хоть глаз выколи. Окна чуть проступали из этой темноты, подсиненные рассветом. Радио еще молчало.

— Чего тебя среди ночи подняло? Свет бы включил...

— Свет, све-ет! — у Осипа пресекалось дыхание, отвисала и тряслась бороденка. — Тут такое дело, — по тайности. Коровку бог послал. Матерая! Слава тебе, господи... слава тебе, господи! Вышел во двор — про-

шумело там вроде, овцы заблеяли, — а она у самых ворот.

— Опомнись, старый, в уме ли ты? Какая коровка? — хриплым со сна голосом забрюзжала Марфа, надевая на себя кофту.

— Цить! — притопнул на нее Осип. — Раскрыла ро-от... На всю деревню слышно! Тише, кому говорят? Лось прибег, у хлева так с ног и пал. Зверь, поди, его из лесу выгнал. Обезножил вконец, обессилел лось-то. Хи-хи... голыми руками его бери, слава тебе, господи! Мяса, мяса-то в нем, старуха. Пудов на пятнадцать коровка! Да не пялся ты-и... баржа неповоротливая, прости господи. Ищи топор, под лавкой был. Чего мешкаешь?

Марфа сошла с кровати, все еще зевая, полезла под лавку.

— Осип, а куда мы с лосем-то?

Старик, перед иконами стоя на коленях, отбивал поклоны.

— Ты-и... — зашипел он и плюнул. — Молитву бы поминала, чем язык распускать. Куда? Куда? Сказано, чистого мяса будет пудов пятнадцать. С руками на базаре оторвут. Разберутся ли: говядина и говядина! По два рубли кило — за день всю тушу спустим. Не луком, чай, будем торговать.

И Марфа закрестилась, завела обрадованно:

— Слава тебе, господи, слава тебе!

— То-то, дошло-таки, — миролюбиво проворчал Осип, поднимаясь с колен. — Где топор? С чем и подступиться: то ли с ножом, то ли с топором — обухом ее, богоданную, сначала оглушить?

— Слышь, собаки-то по деревне всполошились: воют и воют, — вздохнула Марфа. — Как беду какую вожат. Давай, Осипушко, покруче поворачиваться. Злыдни ведь у нас на деревне живут. Донесут, беды не оберешься. Под суд попадем... Ладно ли?

Осип потрогал ногтем лезвие топора, заторопился:

— Коли так, с богом! Фонарь возьми, посветишь.

* * *

Осип и Марфа сидели за самоваром, одетые по-дорожному. Осип благодушно жмурил юркие, как мыши, глазки, круглое с благообразной лысиной, красное,

распаренное лицо его лоснилось. Опрокинул стакан на блюде, отдуваясь, приглаживая бородку.

— Бог напитал, никто не видал!

Сыто рыгая, вылез из-за стола, заученно перекрестился.

— Ты того... лампадку бы, что ли, на божнице за-тепила?

— Выглянь-ко лучше в окно, не идет ли машина?

Не прозевать бы, поклажа ведь у нас, — деловито перебила Марфа. — Обманут, поди!

Осип успел сходить к шоферу, договорился, чтобы на грузовике его и Марфу довезли до базара пораньше.

— Народ, конечно, — поддакнул Осип, осуждающе покачав головой. — Что за люди пошли? Ни за кого поручиться нельзя. Завидующий народ! Злоба его съедает, что мы живем, дом — полная чаша, а они жить не умеют. Ты давай кончай чаевничать. Слышь... — он поднял указательный палец. — Кажись, машина!

У крылечка избы на самом деле скрипнули тормоза подъехавшей автомашины, хлопнула дверка кабины.

Осип отдернул оконную занавеску. Кровь у него отхлынула от лица, глаза побелели.

— Милиция, бабка... дождались! Не иначе как с обыском!

* *

Участковый, сержант милиции Овалов, пробежал глазами протокол.

— Т-так! Следы с кровью к вашей избе привели, гражданин. Вещественные доказательства налицо: мясо, ливер, шкура. Обыск произведен по форме. Какие претензии имеете?

Осип, судорожно сглатывая, облизывая пересохшие губы, твердил:

— Бог вам судья, а только мы серые, законов не знаем...

Лысина блестела от пота, лежавшие на коленях руки мелко вздрагивали.

— Ничего не подпишу! — крикнул он визгливо, с надрывом.

— Не подпишем! — всхлипывала в углу Марфа.

— Ваше дело. — Овалов спокойно поправлял на шинели скрипучий ремень. — Прошу понятых расписаться. Ирина Павловна, прошу. Ваши ученики, спасибо им, первые на след преступников навели. Глазастая публика... Уважаю!

— Вы понимаете, я ребятам не поверила, — взволнованно заговорила учительница. — Может ли быть: зверь искал защиты, а его — обухом по голове! Это же на всю деревню пятно. Есть ли у вас после этого, Осип, хоть капля совести, чего-то человеческого в сердце? Как вы людям в глаза смотреть станете?

— Совесть у них на базаре давно заложена по дешевке, — обронил второй понятой егерь Чебыкин, став свою подпись в протоколе.

— В колхозе эта семейка веком не рабатовала. Знай одну дорожку топчут: на базар да с базара! Лишние люди!

Осип утер локтем пот со лба.

— Серые мы, серые... — Но, подняв на учительницу белые, налитые злобой глаза, прошипел сквозь зубы: — Вот ты чему детей учишь. Ну, погоди, не встречу ли тебя на узенькой дорожке!

Ирина Павловна всплеснула руками:

— Понимаете, он еще и угрожает!

Сержант Овалов спрятал в планшет листки протокола, поднялся с лавки, надел фуражку с кокардой. Повел пристальным, изучающим взглядом на Осипа, и тот съежился, заерзал:

— Серые мы, конечно, серые, примите во внимание.

— Оно и точно, «серые», — произнес сержант со значением. — Вот что, гражданин, собирайтесь! Поедете со мной.

— За что? — взвизгнул Осип. — Люди-и... за что?

СКВОРЦЫ

МАЛО того, что скворушка с нашей березы собою был какой-то щуплый, невидный, он вдобавок обладал вздорным характером. Без него не обходились птичьи потасовки на нашей тихой загородной улице.

В то время как скворчиха тоскует на березе, скворушка на заборе знай щиплет кота за хвост, или вразумляет воробьев, пуская из них пух и перья, или просто пропадает невесть где.

Под вечер, как у них принято, скворцы собирались на старый тополь — обсудить текущие дела. Свистели, трещали, стрекотали — кто кого громче. И тогда голос нашего скворчика-забияки выделялся из общего гама особенно визгливыми и даже скандальными нотами.

Скворчиха, напротив, была всегда равна, спокойна и отличалась, среди прочих добродетелей, домовитостью и хозяйственной распорядительностью. Целый день бывало — с перерывом на обед — лазает в скворечник и обратно. Не могла им налюбоваться. Иногда она принимала соседей, важно надувалась, когда гости, восхищаясь ее жильем, хлопали от восторга крыльями! Можно предположить: при выборе ею друга немалую роль сыграло обстоятельство, что щуплый скворчик, вертопрах и задира, захватил самый лучший птичий домик на нашей улице. Если ребятишки из соседних дворов вздумают доказывать, что у них скворешни лучше — не слушайте. Это в них говорит черная зависть. Наш всех лучше — иначе не заняла бы его под жилье и детскую столь известная скворчиха.

Порой легкомысленного скворушку становилось жаль. Мы за него переживали.

Вернувшись домой из отлучки, помятый, взъерошенный, он из перьев лез, только бы смиростивилась над ним его подруга.

Слыхали ль вы, как поют скворцы? Не очень музыкально, зато от чистого сердца. Усладя слух скворчихи, наш скворушка и кудахтал, как наседка, и скрипел немазанным колесом, и подражал гудку автомашин, притом настолько похоже, что постовой милиционер оглядывался на него с профессиональным любопытством — ведь автомобильные сигналы теперь в городах запрещены.

Стремление скворушки угодить скворчихе растопило бы и каменное сердце. Певец захлебывался самыми диковинными звуками, широко разевая клюв, трепетал и задыхался.

Напрасно. Все напрасно! Скворчиха дулась на него — и все...

Под березой сверкала на солнце обширная лужа. В ней отражалось глубокое небо со всеми облаками, красный грибок, под которым летом в песочнице играют дети, и забор. Правда, не каждый двор может похвастать лужей, где весной удобно пускать кораблики и просто побродить — если мама смотрит в другую сторону? И эту великолепную лужу скворчик предложил скворчихе. Принять ванну после дорожки — это ли не восхитительно! А дорожка у скворцов, надо знать, долгая. Через моря, горы, степи, из жаркой Африки в нашу северную сторону...

Скворчиха выкупалась в луже. Обстоятельно почистила мокрые перья, навела на них блеск и лоск. И — порх на крышу домика. Пообсохнуть на солнышке. На скворчика — никакого внимания. Приуныл бедняжка. Нахохлился. Протяжно свистнул, точно вздохнул, и тут же сорвался с места. А скворчиха, потеряв разом свою степенность, опрометью юркнула в домик.

Это над улицей пролетал ястреб-перепелятник — птичья гроза.

Вы думаете, скворчик бросился наутек? Ничуть не бывало! С воинственным кличем храбрец погнался за злодеем. Ему на помощь подоспели другие скворцы, и ястреб с позором был выдворен за пределы улицы.

Потом наш вертопрах опять куда-то исчез и вернулся вечером. Скворчиха, сидя на ветке, встретила его ворчаньем, весь ее вид говорил: «Ах, за что мне такое наказание! У других скворушки дома сидят, по хозяйству хлопочут, а ты... Ну, на кого ты похож? Где тебя носило?»

Потеплело. Зазеленела свежая травка. Вечера благоухали прозрачной смолой, обливавшей почки тополей, и не хотелось уходить домой с улицы...

У скворцов появились семейные заботы.

И сколько же упреков принял скворчик!

Он носил солому — ее браковали. Дескать, солома сырая и в ней скворчата наживут себе простуду.

Он где-то стащил паклю — и пакля не пригодилась для виття гнезда. Мягкая, теплая, как вата, пакля!

Скворчиха пилила и пилила его а он с ~~крыши~~ ~~сбивался~~ и носил к домику всякий хлам ветхие

тряпочки, перья, даже окурок однажды принес. Он был покладистый малый, он не обижался на придирки. Носил и носил. И все с криками, песнями. Он охрип, голос сорвал. Он души не чаял теперь в домовитой скворчихе. И однажды принес ей цветок. Первый весенний желтенький цветок!

Мы это видели. Хотелось глаза зажмурить — так мы переживали за добряка. Примет ли подарок скворчиха? Если вышвырнет вон, это будет уже оскорбление...

Он принес цветок в клюве — за зеленый стебелек.

Скворчиха выдернула у него цветок и скрылась в домике. Особа хозяйственная, она употребила его на строительство гнезда. Но, конечно, и цветок она восприняла, как должное и само собой разумеющееся. Такой уж у нее, оказывается, характер.

БЕЛКИН КОЛОДЕЦ

СЕРЫЙ зернистый снег остался по полям лишь в глубоких бороздах по северным склонам, отчего поля с той стороны выглядят разлинованными, зеленеют строчками озимых.

На южной опушке рощи уже тепло, сухо. Шмели гудят вокруг ивы, пахнувшей медом. Палый прошлогодний лист гремит на ветру. Сеется с ольхи желтая пыльца. За зиму хвоя утратила сизый блеск, как бы поизносилась, и сосны, елки в теплых своих зимних шубах рады скрыться в тени, вперед пропуская березы. Щедро облитые солнцем, березы белым-белы, скромно опущены вдоль стволов коричневые пряди их ветвей.

На березе справа от дороги я увидел белку. Она ползала по ветвям, которые пригибались под ее тяжестью, и удерживала равновесие хвостом. Белка надкусывала сучья березы. Надувая щеки, причмокивала, сладко жмурились ее круглые черные глаза.

«Чего жмуришься? — подумал я. — Сладкое на язычок попало?»

А ведь точно — сладкое! В старинной загадке про березу сказано: «Стоит дерево, цветом зелено. В этом

дереве четыре уголья: первое — больным на здоровье (банный веник), другое — от тьмы свет (лучина), третье — дряхлых пеленанье (березовым лыком связывали пощелявшие глиняные горшки). А четвертое — людям колодец»...

Что такое «людям колодец», знаете? Нет?.. А белка знает!

Потому и жмурится, сладко причмокивает! Береза весной — людям колодец, но первой из него пьет белка. Сок она пьет, сладкую березовицу.

Я подошел к «белкину колодцу». Сердито цокая, зверек скрылся, а я ножом надрезал белую кору, приладил крышку термоса, и береза нацедила мне соку. Досыта напился! И зашагал дальше, похваливая белку: дивный колодец в роще она открыла.

РЫБЬИ ИГРЫ

ЗИМА нынче держалась, что называется, до последнего. Зато и сдалась разом! Стало тепло, солнце за какие-нибудь три-четыре дня согнало снег. Стоя по колено в теплой воде, засмуглили, замглились леса, перед тем как покрыться нежнейшим юным пухом первой зелени. Забурлили по полям, по оврагам бурые ручьи.

Озера посинели, вздулись, на них появились закраины — лед от берегов как бы поотодвинулся, зарыбила у его кромки чистая вода.

Все же в морозный утренник однажды закраины затянуло непрочным светлым ледком. Этот ледок и разбила щука, подняв его на хребте. С веселым звоном хрупнул он и раскололся! Щука плавала, выставив голубоватое перо спинного плавника. И как ударит плашмя хвостом, изогнувшись в кольцо! Стало быть, подоспело время нереста, щучьих свадеб.

Однако разгар нереста наступил позднее, когда, сбросив лед, озеро вышло из берегов и под водой оказались окрестные низины.

Щуки разгуливали по лугам! Было отчетливо слышно, как они шуршали прошлогодней осокой,

стремительно выпрыгивали в воздух, чтобы, проблестев мокрыми, испятнанными оранжевыми точками широкими боками, шлепнуться в воду.

Или неожиданно высунется у кустов ивняка оскаленная зубастая пасть... И поплывет плавно. И сдается, что щука улыбается, нежась в прогретой солнцем воде.

А над затопленной низиной стоном стонут чайки, заламывая белые крылья. Трубят журавли. Караван за караваном летят и летят гуси, утки, стаи куликов... Неповторимая пора!

Самые крупные щуки выходят на нерест позже мелких. Крупным для их игр, оказывается, нужно музыкальное сопровождение. Они соизволят разыграться лишь при условии, если заурчат лягушки. Открыли лягушки свои концерты — заметь, что крупные щуки вышли метать икру.

У язей нерест совпадает по времени с набуханием березовых почек. В паводок стаями поднимаются язи против течения — в протоки, узкие речки и ручьи. Идут строго по возрастам — помладше и, следовательно, помельче в одной стае, старшие и самые крупные — в другой. Встретится рыбам затопленная плотина, высотой до полуметра, — перепрыгнут. Это им не преграда! Мечут икру эти сильные, в горячей золотом чешуе, красноперые рыбины только на течении, отдавая предпочтение каменистым перекатам, быстринам. И непременно всей стаей. До рассвета продолжают игры язей. Похоже — язи соревнуются в прыжках в высоту! Выскакивают из воды, бьют хвостами.

Тиха, робка плотичка, однако весной и она поднимает шум. Удивительное это зрелище, когда плотички, будто по команде, как стая серебряных птиц, взмывают в воздух. Резвятся, забыв про осторожность. И прыгают, и словно танцуют в воде, и плавают-то на бочку, а то вверх брюшком, и все кругами, кругами, в тесноте тысячных стай, стирая одна у другой чешуйки, которые, перламутрово посверкивая, медленно-медленно опускаются на дно. Вода словно серебром кипит!

А ерши на нересте... играют в чехарду. Ерш, он и есть ерш — одни колючки. На нерестилище ерши суеются, толкаются, плавая взад-вперед по кругу. И как примутся прыгать друг через дружку! Ну, чем не чехарда?

В ЗЕЛЕНое ОКОНце

ЕСТЬ выражение: «Лес стоит стеной». Верно, ча-
стокол стволов, густые кусты, переплетение сучь-
ев, хвоя, листва стеной отделяют тебя от потаенной
лесной жизни.

Да и в этой стене отыщутся оконца — в обрамле-
нии хвои и листьев. Иногда отогнешь ветку, мешаю-
щую наблюдать, — и раскрылось «зеленое окно»!

...Из прогретых солнцем стариц, оставленных на
лесном лугу половодьем луж, по узким, пересыхаю-
щим протокам несло лепестки отцветающих калужниц.
Они липли к траве. Вода была илистая, мутная, при-
пекало, и рыбешки, задыхаясь в лужах, всплывали
наверх, чтобы освежиться, пускали робкие круги. На-
летали с реки чайки. Мелевшие лужи обещали им по-
живу. Вороны тоже не зевали. Бродили вдоль луж,
оставляя на заиленной глине мозолистые отпечатки
следов. Выбирали из травы снулых мальков, дробили
клювами раковины перловицы, занесенные сюда в во-
дополь сильным течением.

На окраине ельника, возле кустов, мирно пасся мед-
ведь. Щипал зеленую траву. Выворачивал камни и ко-
лодины — чавкал, вылизывая из-под них муравьев и
червей. Попадая в тень, темнел бурой шубой; при вы-
ходе на пригрев желтоватая на боках и морде шерсть
золотилась и отсвечивала. Все чаще медведь поводил
черным тупым носом в сторону луж. Одна осторож-
ность удерживала зверя покинуть спасительную лес-
ную сень.

Ворона увидела на мели в траве щуку. Лежа плаш-
мя, щука обреченно разевала пасть, израненные песком
ее жабры кровоточили. Ключув щуку, ворона гаркну-
ла и радостно прихлопнула крыльями. К ней тотчас
опустилась вторая ворона и тоже клювом тюкнула ры-
бину. Вороны не поделили находку, и первая погнала
непрощенную гостью прочь.

Не устоял медведь перед искушением. Закосола-
пил из кустов. В лужу он въехал задом, поскользнув-
шись на липкой грязи. Вороны пускали друг из друж-
ки пух и перья, а медведь в воде озирался, ежил под-
слеповатые глазки. Светлые рыбки, мелькающие ря-
дом в поднятой со дна мути, раздражили его. С глухим

ворчаньем медведь ударил лапой. Целил в рыбешку, а ничего не загреб когтями. Нрав у медведя вспыльчивый. Взревев сердито, замолотил лапами по луже, окатывая себя с головой брызгами.

Все равно никакого толку... Вздохнув, мишка заскулил, поплелся, потягивая носом, по краю лужи. Вот тут и набрел он на щуку. Поднял ее передними лапами — и себе в пасть. Потом как наддаст к лесу рысью, — грязные голые ступни взлетали выше ушей. Щучий хвост, свисая, болтался в его пасти.

Вороны молча глядели вслед медведю. Наверно горевали: как же это мы щуку-то проворонили!

...Я осторожно отпустил ветку. Закрылось зеленое оконце.

Пахло черемухой, тиной, и солнце, поднимаясь выше, укорачивало тени у подножий деревьев. Таяли в небе пухлые белые облачка, обещая погожий денек.

МАЗАЙ И ЗАЙЦЫ

Я ПРИЕХАЛ сюда с ружьем, предвкушая, что охота в половодье, когда утка валом валит в эти низменные, затопленные места, будет у меня удачной. Сюда приехать мне порекомендовал приятель: он бывал здесь и посоветовал, у кого найти лодку.

— Спроси Мазая, он все устроит.

— Гм... дед Мазай? — протянул я недоверчиво. — Ты шутишь?

— Не-ет! — засмеялся приятель. — Мазай — человек серьезный, с ним не до шуток. Ты ему привет передавай, он, очевидно, меня помнит. Челнок у него, честное слово, приличный. И увезет он тебя, на хорошее место поставит, и обратно привезет.

Но в деревне у встречаемых мне как-то неловко было спросить о Мазе. Народ попадался молодой, еще на смех поднимут! Наконец, седенькому старичку, чинившему сеть, распыленную на изгороди, я задал мучивший меня вопрос.

— Ась? — тусклым тенорком отозвался старичок.

— Мазая, говорю, где найти? — прокричал я.

— А вона... — махнул дед высохшей коричневой рукой. — На берегу, где ж ему быть. Видно, порыбальить собирается.

У приплеска перевернутая вверх килем лодка. Над костром дымит чан со смолой. Стоит рядом мальчишка в сапогах-броднях. Лопушистые уши розово просвечивают.

Я спустился вниз, спросил мальчика, где могу видеть деда Мазая.

— Мазая видеть? На, смотри...

Он повернулся ко мне спиной и засопел.

— А ты не отличаешься вежливостью, — упрекнул я. — Интересно, брат, чему тебя в школе учат! Скажи, где дед, и занимайся своим делом.

— Какой дед? Сказано, я Мазай. Чего еще? — Один передний зуб у него выщерблен, мальчишка шепелявит.

— Мазай? Ты? — Я ожидал увидеть седую бороду, а передо мной этакая курносая сердитая физиономия в веснушках и уши лопухами.

Ладно, Мазай так Мазай, — мало ли кого как называют! С мальчиком мы по-деловому договорились, что он на закате доставит меня на островок с заманчивым названием — Сладкий, даст челнок и подсадную утку.

Мы отчалили от берега вечером. Мазай греб умело, размашисто. За лодку был привязан охотничий челн.

Скрылась деревня. Вокруг затопленные островки с ивами, черемушником. И вода, вода... Не знаешь, чего больше — неба или воды! Ни ветерка, все затихло.

Вода, переступив берега, расплеснулась широко, раздольно, затопила поемные луга и нестерпимо сверкала, слепила глаза.

Наша утка, крикая, заворочалась в лукошке. Ну и голос у подсадной! Музыка! Далеко стороной пролетал селезень, повернул к нашему каравану на призывное кряканье.

— Постой! Постой! — спохватился я. — А где мое ружье?

— Я почему знаю? — ответил Мазай с такой беспечностью, что я вспылil.

— Мазай ты, Мазай! Ведь это ты нес ружье в лодку.

— Выходит, в сениях забыл. Обратно, что ли, поворачивать?

— Ладно... — Я поморщился, как от зубной боли. — Езжай, куда знаешь!

В лодке огромная корзина — наверно под улов, сеть и большущий подсачник, оплетенный для прочности проволокой. Этим подсачником не то что щуку или язя — кита можно вытащить в лодку.

Утка, крикавшая непрерывно, опять подманила к лодке селезня. Ах, что за охота у меня пропадает! Сесть бы сейчас в шалаш, выпустить уточку... А я мальчишке доверился.

Лодка скользнула к затопленному островку. От него оставался сухим лишь пятачок. Вдруг кто-то с островка бульк в воду...

— Он! — округлив глаза, завопил Мазай. — Лови его! Подсачивай!

От неожиданности я едва не вывалился из лодки. Как у меня в руках очутился подсачник — убейте, не помню. Я действовал как в тумане. Что-то загреб подсачником — маленькое, с крысу. Но когда вытащил из воды, оказалось, в подсачнике... заяц! Мокрый, тонкий и жалкий. Верещит, словно с него заживо шкурку спускают.

Мазай ухватил его за уши, бросил в корзину и хлопнул крышку. Зайчишка в темноте затих.

— Ну, знаешь... ну, знаешь... Знаешь, ты точно Мазай! — Я отдувался, испарина на лбу выступила.

— А что? — с деланным равнодушием произнес мальчик. Он облизывал пересохшие губы. Глаза его сияли. — Их, зайцев, мало ли в половодье-то пропадает! Уже пятого из беды выручаю, — похвастался он. — В прошлом году зараз троих поймали мы с одним приезжим. Он меня и прозвал Мазаем. Веселый дядька!

— Это не Петр ли Иванович? — вспомнил я приятеля.

— Он!

— Тебе от него привет.

— Ой! — вскрикнул мальчик. — Ружье-то вон где! У вас под ногами... Под сетью! Плыдем на Сладкий остров!

Я понимающе рассмеялся.

— А может, еще зайцев... поудим? Ты куда их выпускаешь... а, Мазай?

Мальчик потупился застенчиво:

— Выпускаю за деревней. А вообще-то меня Толей зовут.

ТУНДРА НЕ ПРИНИМАЕТ

КТО спешил по срочному делу на самолете, тому понятно, что это означает, когда, отворив дверь кабины, пилот объявит в гуле моторов:

— Товарищи, аэродром не принимает.

Вот не было печали! Впереди по курсу испортилась погода: пал туман, гроза накатилась или еще что. В итоге, садиться опасно. Надо возвращаться обратно. Придется в аэропорту нервничать на чемоданах. Хуже того нет — ждать да догонять. Сколько потеряешь в ожидании летной погоды, неизвестно.

...Весна выдалась ранняя, но затяжная. Если в марте прилетели грачи и скворцы, почки тополей сбросили зимние чехлы, то еще и в середине мая несло с севера холодом и лед трещал на лужах.

В лесу все словно перепуталось, смешалось. Под вечер в голом березняке куковала кукушка, наутро же после робкой грозы вдруг повалил сырой липкий снег.

На залитом рекою лугу сквозь серую муть непогоды протемнели черные, бойко перемещавшиеся точки. Очевидно, утки. А в глаза лепит и лепит снегом.

Стонет лес... Из дому выгнала тебя рыбацья страсть — и торчи под елкой у потухшего костра, мокни, мерзни. Сетовать тебе не на кого.

Однако до чего вертлявы эти утки! Снуют, качаются на воде легко, как поплавки, крутятся волчком. «Волчком... Крутятся волчком», — повторил я про себя. Почему насторожила меня эта фраза? Вспомнил, что ее вычитал где-то. Она относилась не к уткам — к куликам. Точнее: к куликам-плавунчикам.

Об этих северных куликах стоит рассказать поподробнее. Из всего многочисленного куличьего племени они одни способны плавать и нырять. Да не в какой-нибудь луже на разливе — в открытом море, среди

увенчанных гребнями волн! На зиму, кстати, плавунчики улетают в Индийский океан. Чем бурнее океан и выше пенные валы, тем привольней куличкам.

В тихом мелком водоеме лихие пловцы сами создают себе волны, крутясь подобно волчкам. Поднимая со дна ил, они кормятся. Зрение у них, ученые свидетельствуют, чрезвычайно острое — плавунчики обходятся без микроскопа, хотя в пищу им идет и микроскопически мелкая живность.

Это еще не все, чем отмечены в природе плавунчики. У птиц Севера о воспитании потомства обычно заботится самка. У плавунчиков наоборот: куличиха снесет яички в приготовленное муженьком гнездо и — фр-р! Поминай как звали — она к югу, на теплые моря улетела. Папа-кулик выводит птенцов, кормит, учит их плавать. Он и пером прост и сер — не сравнишь его с принаряженной куличихой!

Жаль, май на исходе. Плавунчики давно улетели к гнездовьям, в тундры Заполярья.

Но меня потянуло проверить: кто все-таки там плавает? Посмотрю хоть издали. Не видал я плавунчиков, однако кулика отличить от утки ведь не трудно.

Под защитой кустов, окончательно вымокнув, я подошел ближе.

Да, по разливу плавали кулички. Плавунчиков была целая стая — около двадцати. Добывая со дна корм, они становились вертикально хвостом вверх. Экие они вертячки! Крутятся, скользят по волнам, часто-часто кланяясь, то сбиваясь в стаю, то расплываясь в разные стороны.

Верно, в Заполярье быть им пора, да вот горе — и туда задержалась с приходом весна, бушуют там вьюги, трещат морозы. Не принимает тундра. Хочешь не хочешь — переждидай в луже нелетную погоду!

ЗАГАДКА «КУ-КУ»

НАД пашней стелется пар — в нем по плечи тонут белоносые грачи, со всех крыльев поспевающие за трактором. Рокочет трактор мотором, звенят гусени-

цы, камешки чиркают по лемехам, и эхом отдаются эти звуки в лесу, вплетаются в разноголосый птичий хор, распевшийся на зорьке. Цветут, ширятся алые, желтые полосы на небе, и встает солнце.

Из лесу, из его душистой, блестящей свежей зеленью глубины, донеслось:

— Ку-ку, ку-ку!

Всем известна кукушка. Сама она с галку, серым оперением, стремительным полетом очень напоминает ястреба. Скрытна, недоверчива. Западёт в кустах, потом, чуть ты отвернешься, мелькнет среди зеленых вершин. «Ку-ку!» — словно в прятки с тобой играет. Самочки, они рыжеватые большей частью, еще скрытнее, недоверчивее кукующих самцов.

Давно слывет кукушка за бездомницу. Где кукушек много, там окраины лугов, кустарники, перелески превращены ими, ветренницами, в сиротские приюты. Подкидышей пестуют зяблики и дрозды, дятлы и пичужки — всех мачех не перечислишь, потому что кукушат находят в гнездах ста семидесяти различных птичек.

Мелкие птицы люто ненавидят кукушек. Лишь завидят, — пойдет свара! Будто отъявленного хищника преследуют — скопом, с криками, писком... А вот к яйцу кукушки, вылупившемуся из него птенцу они враждебности не имеют.

Появляется из яйца кукушонок первым, поначалу ведет себя мирно. Проходит час, другой... И подкидыш яростно атакует сводных сестриц и братцев. Действует свирепо и безжалостно. У него на спине есть особое углубление. Он «сажает на закорки» птенца или закатывает в это углубление яйцо, приподнимается на ногах, дрожа и шатаясь от напряжения, и рывком вываливает ношу за порог гнезда. Скоро в гнезде он остается единственным хозяином.

Прожорлив выкормыш, растет быстро и через одну-две недели обгоняет в величине приемных папашу и мамашу. Ничего себе, сиротка! Растопырится, — гнезда мало этакому горлану, донимает своих пестунов истошными воплями: кормите, кормите, кормите! Те из сил выбиваются, чтобы его насытить. Им приходится садиться на спину кукушонку, чтобы совать в его разинутый клюв порции мошек, червей, гусениц.

Птички не оставляют попечением кукушонка и после того, как он покинет гнездо. Докармливают: комарика — ему, паучка послаще — ему. Учат добывать пропитание самостоятельно, оберегают от врагов и опасностей.

Почему так бывает? Тайна...

Новую загадку таит в себе отлет молодых кукушек на юг — в Индию, Африку. Они отправляются в дальний путь без провожатых: старые кукушки улетают раньше, не дожидаясь, пока подрастут и окрепнут их подкидыши.

Всем бы хороша кукушка — голосом приятна, полезна как защитник лесов, — да вот ее легкомыслие... Перекармливать труды по воспитанию птенцов на других — куда это годится! И все-таки кукушкина беспечность мнимая. Кукушка потому и подкидывает яйца, что очень озабочена продолжением своего рода. Посудите сами, за сезон кукушка снесет 12—25 яиц, каждое с перерывом в несколько суток. Возьмись она сама высиживать их, птенцы вывелись бы самых различных возрастов. Накормить прожорливых кукушат не удалось бы: ведь каждый кукушонок ест за семерых. И сама кукушка аппетитом отличается. Что ни час, подай ей сто гусениц! Так что, волей-неволей, приходится ей подкидывать яйца в чужие гнезда...

Мало кто знает, что кукушка о снесенном яйце печется с материнской страстью. Случись такое, что человек позарится на ее яичко, — кукушка и на человека накидывается без страха!

Яйцо кукушки несоразмерно мало — будто и не кукушкино, будто какой-нибудь маленькой птички. Окраска яиц кукушки различна. Под цвет яичек тех птиц, в чьи гнезда кукушка их подкладывает. Голубое — горихвостке, крапчатое — пеночке или луговому коньку...

Утро. Нежной зеленой дымкой повита роща. Выше поднимается солнце, и постепенно стихает пение птичек. А из лесной чащи в это время все громче, все отчетливей несется:

«Ку-ку, ку-ку, ку-ку!».

ШУРКУ мы взяли на озеро Темное из-за трубы: полезная вещь! Шурка ее из картона, уменьшительного и увеличительного стекол сделал.

Шурка не рыбак. Куда ему, в коленках слаб! Говорит, чихал я на ваших сорог. Говорит, я на озере свой кругозор расширять буду и в трубу природу наблюдать.

Если б не труба, мы б ему показали, как на сорожек чихать!

Дорогой на Темное Вася воодушевлял меня:

— Рыбалка для здоровья — первое дело. В книге напечатано: выудил рыбку — зараз поздоровел. Да-а!

Вася на Темном бывал не однажды, я — ни разу.

На озеро мы пришли вечером.

Темное — озеро большое и, наверно, глубокое. Когда в нем болотная — черная. Сердитое озеро: волны ходят, что по морю. Дух захватывает, как поглядишь. Озеро в лесу. Елки на берегу растут. К одной елке избушка притулилась. Только что не на курьих ножках — в наш рост избушка. Сложена из толстых кражей, мохом проконопачена. Вместо крыши — еловое корье. Пласты коры камнями и жердьем пригнетены. Шишки на крыше грудой — с елки попадали. Перед избушкой — плот. Привязан веревкой к колу.

Мы нашли в избушке котел, глиняную миску и деревянные ложки с обкусанными краями.

— Это от аппетита, — пояснил Вася. Мы с Шуркой его на смех подняли. А поспела в котле над костром каша, ну и набросились на нее! Будто век не ели. Так уминали — за ушами трещало.

Котомки у нас сразу отощали. Аппетит! Ничего, хоть ложки целы остались.

— Красота, — радовался Шурка. — Поужинали, теперь на боковую. Я в избушке местечко присмотрел.

— Кто на закате спит? — сказал Вася. — Это вредно! Верно, Алеша?

Мне тоже не терпелось испытать вечерний клев на озере. Мы нарезали из ив и молодых берез удилиц. Черви — по банке на брата — были припасены еще дома.

Погрузились мы на плот и уплыли в противоположный конец озера.

Закинули удочки. Поплавки мотало на волнах из стороны в сторону. Ни одной поклевки...

— Жору нет, — авторитетно заявил Вася. — Ветер северный, вот что. Ничего, мы свое возьмем.

А Шурка доводил, так доводил, что рыба у нас не клюет, — слушать было тошно.

Ночи в мае короткие. Мы просидели у удочек до утра. Поплавки глаза намозолили: прикроешь веки, головой потрясешь, чтобы одурь прошла... Нет, все равно поплавки мельтешат перед тобой! Красные, зеленые, синие — всех цветов.

К избушке мы не поплыли. На берегу костер развели.

Вася лег под елку. Я к нему примостился. Шурка выбрал себе трухлявую колодину.

— Замечательно! — говорил Шурка. — Мягче пуховой постели. Сучки аккуратно между ребер попадают.

Утром пошел дождь. Костер залило. Мы дрожали, прижимаясь друг к другу. Дождь не переставал, мы коченели.

— Это очень даже кстати, — говорил Вася, и зуб на зуб не попадал у него от холода. — После дождя ветер уймется.

После дождя вправду ветер стих. Мы бегом на плот! Но опять не шевельнутся наши поплавки...

— Что такое? — бормотал Вася. — На этом месте в прошлом году я не успевал дергать окуней.

За сутки рыбалки без клева остренькое, смуглое лицо моего дружка похудело, осунулось. Он вроде стал еще долговязее. Я, наверно, выгляжу не лучше: ремень штанов затянут на последнюю дырочку.

Шурка слонялся по плоту, противно хохотал и приставал к нам:

— Чего вы на червяка плюете? Он что ли виноват, если рыба не клюет?

Вася рассвирепел:

— Соображай! Я на тебя плюну, что будет?

— Драка, — уставился Шурка на свои босые ноги. — Спрашиваешь еще.

— Да червяк-то не дерется... Чучело ты! На него плюнешь, так он корчится и рыбу подманивает.

— Ха! Много вы подманили, — хохотал Шурка.

Тут я озлился.

— Да что мы к одному месту прилипли? Рыба к нам не плывет — мы к ней поплывем! Какой ветер был? Северный. Значит, рыбу искать надо у южного берега.

На всех парах переехали мы озеро. Точно: от нашей одежды на солнце валил пар.

Нашли укромный заливчик. Мохнатые ели, сосны выстроились по кромке берега. Развесив тяжелые лапы, наклонились они над темной водой, роняли капли дождя. А дальше, в глубине леса, — гнилые колодины, ободранные, с синими голыми сучьями елки.

— Бух! Бух! — раздалось в затопленном кусте ивняка у берега. И как посыплется серебро из-под куста! Целой пригоршней... Да ведь это плотички-сорожки. Щука их, бедных, гоняет.

У Васи руки тряслись, когда он наживлял крючок червяком.

Не успел мой поплавок выпрямиться на воде... Поклевка! Я подсек и вытащил сорожку.

И началось у нас... Поклевка за поклевкой!

У кустов шлепали хвостами щуки. Похоже, будто женщины вальками по белью.

А вечер, вечер-то! Небо голубое, пахнет мокрым березовым листом. Кукушки перекликаются на берегах, и громкое веселое «ку-ку» летает над водой. Тетерева бормочут и чufыкают на болоте. Заливаются птички...

— Дайте удочку хоть поддержать, ребята, — клянчил Шурка, бегая по плоту. — Я только одну сорожку поймаю. А, ребята?

Вася уступил Шурке свою удочку. Сам торопливо размотал другую — с якорьком на стальном поводке. Леса на ней жилковая, грузило тяжелое и пробковый поплавок с куриное яйцо. Насадил Вася живца на якорек, забросил щучью удочку к кусту. Проворно забежал живец, от поплавок — волны. И утонул поплавок.

— Щука взяла! — побледнел Вася. Тугое удище согнулось у него в руках в дугу. Вася стонал, вываживая щуку. Высунулась из воды зубастая пасть...

— Шурка, хватай — заорал Вася.

— Голыми руками? — ахнул Шурка.

— Подсачника-то нет!

Закусив губу, Шурка зажмурился. И цап щуку под брюхо. Она так дернулась, что Шурка чуть не угодил в воду. Он раскровянил ладонь, порезал пальцы об острые жаберные крышки щуки — и вытащил рыбину на плот! Упал на нее животом. — Врешь, не уйдешь! — Щука ворочалась под ним, и Шурка ворочался.

— Ну и рыло, — тяжело дышал Вася, не сводя влюбленного взгляда со щуки.

И я наладил щучью удочку. Подсек, и без хлопот вытянул щучку.

— Веселая жизнь!

— Главное, для здоровья полезно, — сказал Вася.

Шурка, переминаясь с ноги на ногу, с тоской оглядывался на нас. Сорожки клевали у него беспрестанно.

— Вася, я тебе трубу насовсем... при свидетелях! А, Вася? Бери ...а? Ты мне дай жерлицу. Я из нее удочку на щук сделаю. Бери трубу, она хорошая. При свидетелях.

— Я вот наподдаю тебе по шее и тоже при свидетелях! — прошипел Вася. — Ты думаешь, я хапуга? Макну вот в озеро! За ноги и — головой в воду.

Мы Шурку не макнули: очень жалкий он был. Стоит, голову повесил. На макушке — хохолок, как гребешок петушиный.

Наладили мы Шурке щучью удочку. Мучается же парень, смотреть тошно. Потом мы пять жерлиц расставили по заливу. Шурка следил за ними в свою подозрительную трубу. Я ж говорил, оптика — полезная вещь.

К вечеру у нас на куканах ходило десять рыбин — желтобрюхих, темноспинных, с оранжевыми крапинками на боках. Самых красивых щук в мире!

Проверили мы жерлицы и с песнями уплыли к избушке.

Такую мы уху закатали! За уши от котла не оттянешь.

Наелись доотвала, забрались на нары. Стали засыпать под шум елки над крышей. Вдруг вскочил Шурка, точно встрепанный.

— А как же природа? Может, и ночью спать вредно? Я, ребята, пойду. Расширять кругозор буду и вообще...

И видел, куда он побежал. На берег, к жерлицам.

— Ой! Шурка подзорную трубу забыл взять. Я его догоню?

— Не стоит, — сказал Вася. — Я отдохну немного и сменю его. Мы кто? Ры-ба-ки! Понимать надо!

ЧЕРНОШЛЯПКА

ОНА заявляет о себе песней в те дни на грани весны и лета, когда на пашнях появятся всходы, росными вечерами заскрипят из мокрых низин коростели и зацветет черемуха.

С виду она непритязательна. Оперение самое что ни на есть затрапезное: грудка серенькая, крылья и спинка пепельно-бурые, широкий хвост темный, на темени черная шапочка. Вроде берета. Поэтому зовут эту птичку «черношляпкой» или «черноголовкой».

Черношляпка из рода славок, защитников леса. Многие согласны, что она лучшая лесная певунья. Скажете: а соловей? Но соловей не забирается глубоко в березовое чернолесье, соловья не услышишь и в торжественно-светлых сосновых борах, в ельниках, где нога путника утопает во мхах, где старые гари заросли лиственной молодью, малинником, где текут настоянные на смородине ручьи, зеленые от отраженной в них листвы и хвойной нависи.

Начинает славка-черноголовка свою песню задумчиво, будто рассказывая о чем-то вполголоса, и внимают ей, покачивая вершинами, ели в сивых бородах, кусты калины, папоротники, и ручей как бы умеряет говорок. Песня звучит все громче, крепнет, переливчатая, чистая, — слушаешь ее, как родниковую воду пьешь. Закончив петь, славка-черноголовка издает трогательно-недоумевающие восклицания: те... те? Неужто это я? Короткая пауза. Не попробовать ли мне снова спеть, как на этот раз получится? И опять начинается — раздумчиво, нежно, оттеняя мелодию легким прищелкиваньем.

Однажды я нашел гнездо славок-черноголовок. Оно было на пушистой елке. Невысокой, стоявшей по грудь

в траве на полянке. Затаившись в кустах, я видел хлопоты славок — его в черной шляпке, ее — в коричневой. Птенцов славки кормили насекомыми, гусеницами. Вдруг, не замечая меня, славка в коричневой шляпке порхнула прямо к моему кусту. Я затаил дыхание. Черные, живые и блестящие, шустрые глазки, не задержавшись на мне, скользнули мимо. Славка с куста опустилась наземь. Разворошила палые листья. Набрала полный клюв земли — и к гнезду.

Я видел, как она одеяла землей писклявых своих чад — каждого крупницей влажной, пряно пахнувшей земли. Для чего, — это ей, маме, знать!

Но я подумал: будущей весной еще песенней будет этот лес — ведь вместе со старыми прилетят сюда и молодые славки-певуньи, из материнского клюва, доподлинно узнавшие вкус родной земли.





**ГАМАК НА
СОСН**



В КРАЮ НЕПУГАННЫХ ПТИЦ

НЕПРОНИЦАЕМА густая хвойная завеса. Сыро под ней, сумеречно и тускло. Поднимаются испарения от луж стоячей затхлой воды, темной как деготь. Теряются в полумраке стволы дальних елей, сливаясь в сплошную серую колоннаду. Ни кустика, ни травинки — один мох да сивые, свисающие с мертвых сучьев борода лишайников, опутанные паутиной. Да хвоя, хвоя... Пусто, беззвучно в чаще, как на дне моря — ни проблеск солнца, ни единый звук не достигают земли. И неба над головой не увидишь, все скрыто хвоей, переплетением ветвей. Бурелом, колодник, вырванные с корнем, поваленные ветром старые ели. Редко-редко — прогалины, поросшие хвощем и папоротником. Безлюдье, тишина.

Наверное, каждый, кто раз поднял на плечи походный рюкзак и заразился странствиями по лесам, носит в душе мечту — побывать в таких вот местах, где не ступала нога человека, побывать в «краю непуганных птиц». И я в поисках такого края немало исколесил путей и дорог, бродил в звонких сосновых борах Ии-нежья, в вековых ельниках под Плесецкой, в Беломорье, где зеленый хвойный шум вторит рокоту прибоя.

Мечта оставалась недостижимой...

Но я нашел край непуганных птиц! Только не там, где думал его отыскать.

В село Плесо меня привела командировка. Редакция дала задание написать о тамошних овощеводах.

Остановился я у бригадира. Заполночь проговорили мы с ним об артельных делах. Тем не менее утром я поднялся не по-городскому рано, надеясь застать председателя колхоза в правлении.

Во дворе слышались уже голоса. Вдруг резко протрубил горн.

Я выглянул в окно. У мачты строились ребята в красных галстуках. По-видимому, тут летняя площадка или лагерь. Руководил построением мальчуган с полевой сумкой через плечо и биноклем на шее — Славик, как я его признал, сынишка бригадира. Был с ребятами учитель, очень молодой, в соломенной шляпе, в сандалиях на босу ногу. Он сидел на бревне, разложив на коленях то ли план, то ли карту. Не отрываясь от карты, делал на ней пометки карандашом.

— Слава, сеть починена?

— Да, — ответил Славик и сразу поправился: — Вчера Ваде было поручено. Вадик, что с сетью, Константин Иванович спрашивает!

— Все в порядке.

Ребята наверное собираются рыбачить. На прудах, где полно карася. Лины, говорят, и то есть. Будто бы их запустил в пруды лесничий, работавший в этих местах незадолго до революции. Теперь в доме лесничего под плакучими березами школа-восьмилетка. Не будь у меня других дел, я бы непременно предложил себя в ребячью компанию. Пройтись с бредешком по прудам, добыть карасей... Жареные в сметане караси — объеденье!

Вскоре однако я забыл и о карасях, и о рыбалке бредешком, настолько меня озадачили, если не сказать сильнее, нелепые команды, которые раздавал Славик направо и налево.

— Оля и Нюра — в секрет на третий квадрат, -- приказывал он. — Отнесите воды тете Тине. Не пугайте ее, смотрите, — у ней птенцы вывелись.

Две девочки, мелькая пятками, помчались по пыльной улице.

— Петя!

— Есть!

— Возьмешься за капустный квартал. Не забудь гонять ворон!

— Есть!

— Гаврик!

Вразвалку вышел рослый толстый мальчик. Переминаясь с ноги на ногу, встал перед строем, в котором слышались смешки и шушуканье.

— Я в секрет не пойду, — заявил Гаврик набычась. — Считал вчера комаров, считал... Сто раз сбился! Я не электронно-счетная машина, раз они таскают и таскают. Скука одна — эти секреты.

— Разговорчики! — петушиным голоском закричал Славик, взглядом прося у учителя поддержки, но Константин Иванович ничего не замечал, углубленный в карту. Славик сменил тон. — Ладно, ладно... Тогда иди в засаду у моста. Зареченцы обещались напасть. Поступай, знаешь... того! По обстоятельствам. Здорово то не дерись, а... ну, в общем, понятно!

Вот Славик с учителем остались наедине.

— Константин Иванович, из-за границы больше сведений не поступало? Неужели Филипп пропал без вести — это с двумя-то brasлетами!

Я был окончательно сбит с толку. Тетя Тина, у которой вывелись птенцы, какие-то засады по подсчету комаров, наконец Филипп, пропавший без вести с двумя brasлетами. Что за чушь!

Председателя колхоза я не застал ни дома, ни в правлении и отправился на овощной участок.

Отлого спускавшиеся к прудам гряды цвели яркими платями и платками работающих женщин. По полосам, урча, ползал маленький красный трактор.

Шагая дорогой, в тени кустарника, я увидел растянутую на жердях рыбацью сеть. «Чудеса продолжают-ся! — подумал я. — Кто-то ловит рыбку на сухом берегу».

Из-за поворота дороги показались Константин Иванович со Славиком.

— А-а... Здравствуйте! — улыбнулся учитель, поравнявшись со мной.

— Вас председатель ищет, — поспешил сообщить Славик. — Он в поле.

Мы разговорились и уже спустя минуту вместе смеялись над моим недоумением. Ведь я чуть впросак не попал.

Ребята ставили сети в кустах, но ловили, разумеется, не рыб. Птичек! Они с Константином Ивановичем

надевали им на лапки алюминиевые кольца-браслеты.

Кольцеванием юннаты села Плесо занимались не первый год. Из Болгарии, Египта, Франции шли вести, что там пойманы окольцованные птички, улетевшие на зиму в теплые края. Ребята устраивали засады у гнезд, считали, сколько раз прилетают птички с кормом для птенцов. Занимались и многим другим. Ведь у них пост по охране природы!

— А много птичек с зимовок к нам не прилетает. Наверно, в пути погибают, — рассказывал Славик. — Сто птичек окольцуем, одна вернется. Вот Филипп тоже. Мы его два лета подряд кольцевали. Филиппами мы певчих дроздов зовем. Знаете, они по вечерам выпевают, очень похоже: «Филипп-филипп... чай-пьем, чай-пьем... Вы-ыпьем!»

— Н-да, жалко, что он к вам не вернулся, — искренне посочувствовал я.

— Не все это понимают... Зареченские ребята с рогатками нападают! Мы птиц кольцуем, а больше не беспокоим. У нас от Академии наук разрешение есть их кольцевать. Мы поилки в кустах сделали, чтобы птичкам с гнезда далеко не летать на водопой. У нас сотни дуплянок, скворещен развешано! И стрижи в домиках живут!

— Послушайте, а кто у вас тетя Тина?

— Синица. «Тинь-тинь!» — свистом передал Славик синичье теньканье. — У нее вторая кладка за лето. Мы ее трижды окольцевали. Тина — старожилочка!

— С птичками у нас возня не ради забавы, — пояснил Константин Иванович, — преследуются хозяйственные цели. И то, что мы делаем, — капля в море. Беспечны мы еще к крылатой защите полей, садов и огородов! В лучшем случае, весной выставим скворечник у дома. Только-то! Мало делается для охраны гнездовий, для помощи птицам в зимнюю бескормицу. Мичурин воробьев в своем саду берег. А мы?... Вижу, вы в восторг пришли, что ребята нашего села создали пост по охране природы? Сознаться, необычным это вам кажется? А меня то поражает, что мало организуется заповедных мест, подобных нашему, возле сел и городов! Ведь одна... подчеркиваю! Одна горихвостка за лето истребляет миллион вредителей полей и садов,

синица — шесть с половиной миллионов за год. Крохотная гаичка ежедневно зимой обследует две тысячи ветвей. Нет, вы, пожалуйста, не восторгайтесь нами, — Константин Иванович положил Славику руку на плечо. — Мы делаем обыкновенное нужное дело.

... Так я побывал в краю непуганных птиц. И я понял, какой надо было идти к нему дорогой. Не уходить от людей, а идти к людям — к таким, как сельский учитель Константин Иванович и его друзья и ученики!

ГАМАК НА СОСНЕ

ВОЛНАМИ наплывает по ветру аромат цветущих рябин. Луга и поляны раззолочены лютиком и купальницей. Темень густых елей подновлена молодой хвоей, и каждая ветка, разлапая и колючая, будто шелком вышита. Нежный ворс покрыл листья берез...

У подножия шумливой осины голубеют скорлупки. Голубые, словно осколки неба. Их принесла сюда горихвостка. Напрасно напрягаешь слух: писка птенцов не слышно. Осторожничают горихвостка, унесла скорлупки подальше от гнезда!

Уже по окраске выброшенных из гнезда скорлупок можно судить о том, где обосновалась желторотая птичья семейка — на земле или в укромном дупле, высоко на дереве или в открытом поле.

У птиц — свои законы, которым следуют все, начиная от журавля и кончая маленьким задорным крапивником. И первый закон — затаи гнездо, чтобы в безопасности оставались птенцы до подъема на крыло.

Тот же известный всем журавль населяет болота, сырые обширные луга, поросшие осокой. Он сильный — ударом крыла может переломить лапу собаке, с успехом гоняет прочь лисиц. Неказисто гнездо жури. Иногда это ямка в земле, или куча хвороста. Бывает, вытопчет он ногами сухими, как трости, гривку осоки, застелит травой — и готово гнездо! Весной трубит журавль у гнезда с раннего утра. Думаешь, чего это раскричался, всем на свете объявляет, где устроился? Но не всякий музей имеет в коллекции яйца

журавля. Они тусклые, бурые, в серых пятнах. На ржавой болотине, в седой поросли прошлогодней осоки попробуй-ка их разглядеть! Да и добраться до гнезда журавля не легко: то отделяют от него топкие мхи-зыбуны, то озерко и непролазные кусты.

Как камушки яички жаворонка — серые в темно-бурых крапинках. Камушки и камушки. Почему? Потому, что гнездо у жаворонка открытое, свито прямо в поле, среди камушков.

Луговой чекан выводит птенцов тоже на земле. А яички у него яркие — зеленые, с голубым отливом. В чем дело? Свое гнездо чекан луговой располагает под кустиком, среди яркой, не выцветшей на солнце травы. На лугу тени от кустов, трав и то зеленые с просинью!

Пеночки — веснички, трещотки ладят гнезда в траве. Искусно вяют из сухих былинки шалашики с покатою кровлей, прячут в них яички — маленькие, с земляничную ягодку, и цветом розовые, как земляника, чуть-чуть подрумяненная солнцем.

У птиц, выводящих птенцов в дуплах, яйца или блестяще белые, как у дятлов, вертишеек, сов, или голубые, как у горихвостки, или белые в мелких красных, коричневых точках. Чисто белые яйца — признак, что иначе как в дуплах птица гнезд не вьет. Исключения тут очень редки.

Глубоко в норах, обществом по несколько десятков птиц в одном месте, селятся ласточки-береговушки. В норке безопасно, как и в крепком прочном дупле. И так же сумрачно... Яички ласточек-береговушек белые, в отличие от красновато-бурых яичек ласточек-касаток, лепящих гнезда из глины под крышами деревянных изб.

Без чомги трудно представить глухое озеро, заиленную старицу. Гнездо этой птицы плавучее. Оно из камыша, тростника, а спросите у любого удильщика, до чего хороши камышовые полавки — легки и долго не намокают. Яйца чомги, превосходной ныряльщицы и рыбакова, однотонны, зеленовато-белые. Живет чомга на воде, однако чистоплотностью не отличается. Пачкает и в гнезде яйца — как бы специально их маскирует!

Высоко по березам, липам, тополям, соснам гнезда золотой иволги. Гнездо гамаком подвешивается к раз-

вилке боковых тонких сучьев, и ветер качает колыбельку маленьких птенцов. По мере их роста сучья обвисают от тяжести, гамак так раскачивается в ветер, что оперившиеся молодые иволги чуть из него не падают. Волей — неволей покидайте гамак, не то вывалитесь!.. А яйца иволг очень красивы — в редких крапинах, то розовые, то желтые, словно вобрали в себя переливы утренней летней зорьки.

У птиц — свои законы. Завидев хищника, притворяется больной пестрогрудка-славка, ползает по кусту, опираясь на распушенные крылья, срываясь и падая наземь. С собой рискуй, но отведи врага от гнезда!.. Вьются над полем чибисы, хлопают крыльями в страхе: «Ах! ах!» Кричат с тоской: «Что-вы? Что-вы?» Манят за собой прохожего, приблизившегося к их гнездам... Шипит змеей, по змеиному вытягивает шею робкая беззащитная вертишейка, если в дупло протянулась хищная лапа...

И ты, если увидишь птичье гнездо, не трогай его. Это — твоя земля. Вся, до последней былинки, твоя. И для тебя повесила гамак на сосну иволга, пеночка поставила на укромной поляне шалашик. Все твое, и ты будь хозяином. Для тебя, наследника необъятного мира, берегут птицы леса, стерегут урожай на полях. И поют птицы тоже для тебя!

БОЙ У ОБРЫВА

ПОДМЫВАЕМЫЙ половодьем речной обрыв из года в год занимали ласточки. Селились колонией, по несколько десятков, и с весны до осени их щебетанье, быстрый полет оживляли реку. Для гнезд ласточки делали в берегу норы. Удивления достойно, как маленькие, на вид слабые птички справлялись с тяжелой работой. Нора глубиной до метра, широкая, — подолбишь глину клювом, повыскребашь ее лапками! А если большой камень-валун встретится, бросай нору, принимайся за новую. Мелкие камни ласточки выкатывали, налегая на них грудью, подталкивая клювом. При этом, одна ласточка выкатывала камушек, а

другая — они работают на пару, — поддерживая ее сзади, тоже грудью, подбадривающе пиццала...

В ельнике, клином вдавшимся в луг, обретался пестрый ястреб-перепелятник. Желтоглазый, с острыми крючьями когтей. Соседство, стоит ли доказывать, для ласточек опасное. За примером ходить недалеко. Утка-чирок вывела в канаве утят. Разбойник их подстерег и всех передалвил поодиночке. Конечно, чирята прятались, так он их искал, разгуливая возле кустов пешком. Утята были глупые, — головенку сунет под кочку или в траву, а сам весь наружу. Ястреб цапал утенка за хвост и выволакивал... Уж как убивалась мама-утка по своим утятам! Да что поделаешь — за ястребом сила.

Меня пугала беспечность ласточек. Носятся над водой, подпархивая, как бабочки, щебечут. И бросает на беззаботных летуний хищные взгляды ястреб с сухой ели. Не потому ли он их и не трогает, что мелочь, когтей пачкать не стоит?

Но вот одна ласточка, увлеченная погоней за мошкаррой, подлетела к ели. Ястреб камнем выскользнул из скрывавших его сучьев и упал на нее. Ласточка взвилась выше и, загребая острыми крыльями воздух, будто веслами, с тревожным писком понеслась под защиту берега.

А берег вдруг словно выстрелил десятками ласточек.

На пороге своего дома всяк силен, и ласточки дружно насели на ястреба. Наверняка были у них с ним свои счеты. Теперь уж он отбивался от их атак, выставив длинные лапы и хрипло, злобно свистя. Сшиб одну ласточку, другую. Погибшие в воздушном бою ласточки падали в реку.

Я бегал на противоположном берегу, размахивая удилищем. Но чем помочь ласточкам, — река и широка и глубока.

Наконец ястребу удалось оторваться от ласточек. Неровным, каким-то спотыкливым полетом он косо спланировал через реку, наткнулся на изгородь и, упав, забился в густой некошенной траве.

Ведь одолели ласточки страшного врага... одолели! Потому что не в когтях и железном клюве — в дружбе сила!

Оставив удочки, я подошел к поверженному хищнику. И мне стало не по себе. У ястреба кровоточили глаза. Жалкий, растерзанный, он ковылял по траве.

У хищников своя гордость. Они умирают в самых недоступных местах. Не хотят, чтобы хоть кто-либо видел их слабость.

Ястреб с трудом пробивался через траву, каждая травинка ему была препятствием, задерживала его, но желтый клюв держал по-прежнему хищно и надменно. Где-то в частых и колючих кустах шиповника найдет он последнее пристанище.

ПЕРВЫЙ ШАГ

ПОГРУЖАЕТСЯ лес в вечернюю прохладу. Одни березы, подняв гибкие вершины, нежатся в последних, таких ласковых лучах солнца и, словно стыдясь его ласки, застенчиво розовеют светлой корой.

Вдруг откуда ни взялась над лесом птица — необычного облика. Полет ее был плавен, медлителен. Что же в ней странного? Ах, вот что — в когтях ее чернеет добыча, а на хищника птица не похожа.

Птица тянула на меня. Скоро признал я в ней лесного кулика вальдшнепа. По ржавчато-бурой окраске и длинному клюву. Вальдшнеп летел низко, с усилием взмахивал крыльями и в лапках бережно нес собственного птенца. Живого и невредимого! Клюв кулика опущен, крупные влажные глаза как бы устремлены вниз, словно выбирает он себе дорогу. Птенец еще пуховый, кажется, весь состоит из клюва и больших глаз. Пока вальдшнеп удалялся за деревья, я успел рассмотреть, что птенец быстро сморгнул, повел клювиком по сторонам.

Кулика с выводком, очевидно, потревожили. В лесу днем полно грибников, раз он от железнодорожной станции близко. Поэтому решила мама-вальдшнеп переселиться с потомством в более безопасное место.

Первый свой полет, первый шаг в мир — в этот безбрежный океан света, простора полей и лесов — маленькие вальдшнепы совершали на маминых крыльях.

СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ

ЗАДОЛГО до рассвета оставил я сеновал, торопился с удочками к озеру, запинаясь в темноте о колодины и корневища деревьев.

Рано. Озеро спит...

Чтобы скоротать время, я стал собирать сучья, валяжник, на мысу — вдавшемся в озеро полуостровке — развел костер. Нарочно подбросил на огонь сухих ивовых прутьев. Запашистый дымок от горящей ивы — духи, прямо духи. Не то береза — от нее дёготьком несёт. От сосны — смолой, густо так. А ольховые дрова не дают ни запаха, ни дыма, и на них хорошо рыбу коптить. Одна незадача: улов-то мой пока в озере. И улыбнется ли мне рыбацкое счастье?

Нечего делать, надо ждать. Ждать зарю.

Костер выстлал светлую дорожку до середины озера. Омут просвечивал. Под позолоченной пламенем голубой пленкой вода обретала цвет янтаря, постепенно густеющий, переходящий в зеленоватую, коричневую темень. В перистых бурых, с черными тенями, водорослях поблескивали серебром чешуи мальки. Красные плавники, глаза с оранжевыми ободками отливали алым, как искры костра. Плотички... Маленькие, прозрачные. Спят плотички. Спят вниз головой, потягивая воду в бахромчатые жабры. И шмель вон спит. На желтом махровом цветке. Качается стебелек, баюкает шмеля. Мягче подушки цветок, душист и свеж. Укрыл лепестками шмеля, который прижался к нему мохнатой грудью, с головой зарылся в нежные волоски тычинок. Спят цветок и шмель, можно сказать, в обнимку! Я пощекотал шмелю полосатое, в седом ворсе брюшко — и лапкой не дрыгнул засоня. Вместе с цветком его унеси не проснется.

Как паркетом, заводь выстлана блестящими листьями кувшинок — белых лилий.

Я думаю, в любом водоеме: в реке ли, озере, в тинистом ли пруду — есть что-то свое, глубоко потаенное. Своя душа и свое дыхание. То неповторимость широкой водной глади придает отражение березы, по-лебединому изогнувшей ствол над плесом; то говор струй между синих камней переката; то затонувшие коряги, облепленные тиной, мхом и водорослями.

Душа заводей — белые лилии. Упруги их снежные лепестки в голубых прожилках, ярки, как огонь, тычинки. Днем плавится солнце в сверкающих зеленых листьях, и дрожат и переливаются блики на тростниках, скользят по стволам сосен. В сумеречную глубь уходят стебли кувшинок, в недостижимый постороннему взору мир водорослей, тины, перламутровых раковин. Там на дне шевелятся размытые серые тени, там лежат, причудливо переплетаясь, толстые жгуты корневищ. И это сочетание — сияющей белизны лилий с черным провалом омута — делает заводь поэтичной, как сказка.

Угасает белый огонь лилий с вечера. Когда повеет прохладой, солнце умерит свой зной, начинают смыкаться снежные лепестки, упаковываясь в тугой плотный шар. Стебель, укорачиваясь, увлекает заснувшее белое диво под воду, и омут словно осиротеет тогда, нальется бездонной мрачной глубиной.

Ночь. Спят под водой белые лилии...

Небо на востоке, наконец, посветлело. Негромко, словно спросонок, пропела утреннюю побудку горихвостка из гуши прибрежных ольховых зарослей. Над озером забелел туман.

Плеснулась большая рыба, подняла волну, на которой заколебались, прошуршали и стихли камыши.

Смотрю я: мальков-плотичек из водорослей возле берега и след простыл. Короток сон в летнюю ночь...

ОРЛАН

ВОДА в озере была прозрачна, как воздух: на глубине и то просматривалось дно — в высвеченной солнцем сиреневой роздыми. И сосновый бор, поднявший вершины, подобно зеленым шлемам, со стволами, будто выкованными из бронзы; и песчаная коса, по которой прошагал волк, оставив глубокие отпечатки следов; и белые лилии над омутом; и тишина этих дебрей — все настраивало на сказочный лад.

Лежавший между корневищами налим, с его усом на подбородке, вполне сходил для меня, например, за

подводного владыку. Пятнистый, толстый, он дремотно шевелил хвостом, вздымал песчинки, вспыхивающие драгоценными блестками — казалось, этот владыка пересчитывает свои сокровища...

Смотав удочки, я прилег в тени отдохнуть перед дорогой. Далеко-таки до жилья, долгонько же придется тащиться, вызванивая котелком за спиной!

Становилось знойно. Смолкли птичьи голоса. Одни кузнечики неугомонно трещали в травах, да, распластав крылья, с криком парил над озером орлан-белохвост: «Ки-й! Ки-ий!».

Гнездо орланов — громадная груда сучьев на вершине сосны. Бурая орлица, подняв вверх клюв, застыла, расправив двухметровые крылья, — затеняла ими птенцов от лучей солнца. Как бы головки маленьким не напекло! И диковинно было видеть эту исполинскую птицу в позе гордой и страстной материнской нежности.

Послышался в камышах шорох. Их стебли раздвинулись, пропустили на плёс чомгу. Черные рожки, рыжие баки вместе с крошечными издали глазками и тонкой белой шеей делали ее комически чопорной. Трое бурых с острыми клювишками утят сопровождали чомгу по бокам. Они не плыли — они словно бы катились пушистыми шариками по застекленевшей воде.

Как это произошло, я не заметил, но скоро трое маленьких чомг очутились у мамы на спине. Поплыли, как на пароходе! Словно желая доставить проказливым пассажирам удовольствие, чомга, распутив баки и выставив рожки, медленно курсировала взад-вперед возле камышей.

Внезапно орлан, о существовании которого я и забыл, заглядевшись на семейку чомг, выпустил хищные лапы и устремился вниз. Он пикировал прямо на чомгу, в его широких крыльях свистел рассекаемый воздух. Чомга мгновенно исчезла. Будто провалилась — без шума и плеска.

Ударившись о воду, орлан поднял тучу брызг.

— Промазал! — чуть не крикнул я. Вовремя удержался, потому что чомга вынырнула так близко от меня в камышах, что я заметил, как с ее рыжих баков скатилась капля воды.

А где ее маленькие? Э, не потерялись! Острые клювики беззаботно выглядывали из-под крыльев чомги. Выходит, чомга прихватила их, что называется, «под мышки», прежде чем нырнуть.

Орлан между тем бил и бил крыльями, окатывал себя брызгами, заходясь яростными хриплыми криками.

Тяжело поднялся он, наконец, в воздух, мокрый, взъерошенный. В крючьях его лап вдруг золотым боком просияла рыбина.

Ну и язище... Я ахнул. Какого великолепного язя подцепил этот белохвостый бродяга! Появись я с подобным уловом в деревне, да легенды бы о моей удаче ребятишки сочинили!

А красноперого золотого язя нес орлан. Нес в гнездо.

Он рыболов, этот орел, каких поискать. А я-то думал, он на чомгу набросился. Как бы не так, нужна ему чомга, когда язей в озере хватает.

Пользуясь тем, что чомга вновь нырнула, я, пригибаясь и волоча удилица, убрался в кусты и там вышел на дорогу.

На лесном озере — своя жизнь. И пусть она продолжается...

ЩУЧИЙ ПРОФЕССОР

ЛЕСНАЯ речушка Еловуха. Есть у ней задумчивые омуты с лилиями и синими стрекозами-красавками, с корявыми старыми ивами, которые полощут свои длинные ветви в воде. Славится Еловуха и перекатами — в кипении потока, в россыпи разноцветных камешков.

Рыбак рыбака видит издалека, однако непостижимо, как можно было меня разглядеть, если я нарочно прятался от любопытных глаз в густых прибрежных зарослях?

— Ты, милой, удилицем-то по воде не шваркай, — наставлял меня какой-то дед, внезапно появившийся за моей спиной. Рыбка шума чурается. Да-а... А насадка у тебя? Черваки? Ты непременно попробуй на жмых. Червак, он тоже ничего — способность имеет,

а жмых для язя разлюбезная приманка. На рачье мясо испытай, на ракушку. Дорожный хлам тоже разную рыбу приманивает. Нагреби его в мешок и — в реку. Что тут пойдет... Со всей реки рыбы сбегутся! Дергай! — прервал свои поучения дед. — Наплавок звон в сторону поперло. Подсмыкивай!

Я дергал, тянул, «подсмыкивал»...

Рыба обязательно срывалась.

Уходил дед, заядлый рыболов. Стайкой набегали ребятишки. Потом прибрела старушка-грибница. И она не упустила случая меня поучить:

— Не на месте сидишь. Ты бы к Сухому броду подался. Давеча видела: язи у коряг стоят. Один к одному — матерущие да крупнящие. А налим — хвостом так и крутит...

— Где ж этот брод?

— Откуль ты, желанный, ежели Сухого брода не знаешь? — трясла старушка седой в черном повойнике *) головой.

Немудрено, что к вечеру я забрался по Еловухе дальше от всех учителей по хитрой рыбачьей науке — в глушь, в самые что ни на есть комариные владения.

Перед закатом открылся неистовый клев. По плёсу словно дождь с градом шел: круги, круги. Играла, плескалась мелочь, пускали пузыри темноспинные, золотобокие язи. Брала же большей частью плотва. Я ждал — авось вытащу что-нибудь покрупнее. Не этими ли ожиданиями красна жизнь удильщика, одолеваемого несчетными комариными полчищами!

Тени мохнатых елей ложились на реку, растворяясь в воде. Лучи закатного солнца полосой прорезали густой, насыщенный запахом трав и тины воздух. Клев, тишина... Большого желать не надо!

Вдруг надо мной — я удил у обрыва — послышался шорох. Сверху, подскакивая, упал камешек и булькнул в воду.

Я обернулся. Над высокой травой, среди белых зонтиков дягиля и дудника, — кепка с пуговкой и растрепанным козырьком. Кепка приподнялась, я увидел белобрысую и курносую физиономию, с круглыми серыми глазами.

*) Платке.

В этот миг поплавок задрожал. Я подсек и вытащил мясистого подъязка.

— Здóрово-о! — кепка с пуговкой не скрывала своего восхищения.

— Ничего, клюет.

Круглое безбровое лицо мальчика было добродушно, нос, осыпанный веснушками, крапчатый, как воробьиное яичко.

— Тебя как зовут? — спросил я вполголоса.

— Степа, — шепотом ответил он и спустился ко мне по обрыву.

— Удить любишь?

— Ага. Я по щуке. Ну, из-за ее характера. — Степа застенчиво копал босой пяткой песок. — Ребята дразнятся, что я щучий профессор. Посмеяться сами не свои.

— На какую снасть ты щук ловишь? На жерлицы, на дорожку или спиннингом?

— Не... Спиннинг дорог. Я попросту на крючок, на червака.

— Щук? На червя?

Я хмыкнул: о таком уженье что-то не слышал. Щука берет на червя, но редко.

— А ты не заливаешь... профессор?

— Чего еще!

Степа попросил у меня запасную удочку, проверил прочность удилица, жилковой лёсы. Вздохнув, сказал:

— Справная! Такой у меня в руках не бывало.

Он ловко наживил крючок.

— Червак?

— Ну, а дальше?

— Увидишь... Еще спасибо мне скажешь! — ответил Степа и ушел от меня к перекату. Он перебрел речку, закатав штаны до колен, и пристроился у меня на виду, у омута.

Степа не опустил леску в воду, а начал быстро и осторожно водить червяком по ее поверхности. Червяк извивался, от него усами бежали мелкие волны.

Щучья поклевка последовала неожиданно.

— Тащи-и! — сдавленно крикнул я Степе.

— Не впервой... — Степа, тяжело дыша, подвел щуку к берегу, взмахнул удилицем и выбросил ее в траву.

Он предстал передо мной со щукой в одной руке и удочкой в другой. Каждая веснушка на его носу торжествовала победу. Степа улыбался и цепко держал щуку под жабры. Она бессильно висела, очертив зубастую пасть, с хвоста падали блестящие капли.

— Поразительно... Знаешь, ты ведь и впрямь профессор.

— Это еще что — щуренок... — Мальчик посадил щучку на мой кукан. — Бывает, до поту возишься — удилеще в руках едва держишь. Вырывается щука-то! Иной раз леску перекусит и удерет. Бывает и так: водишь, водишь черваком, намучаешься — хоть сам садись на крючок вместо щуки! А ловить лучше у травы по тихим местам, где они отдыхают. Щук у нас прорва. Черваком надо подергивать чуть-чуть. Пускай образ получается, что водяной жук плывет. Щука с характером рыбина, жадная. Не вытерпит, хапнет щука... На червака... да-а! На глубине щука тоже клюет. И на переборах... когда где.

По совету Степы я выудил щучку. На червяка! Трудно сказать, кто из нас был больше рад удаче: я или Степа. Ему на месте не стоялось, он краснел и бледнел, и голос у него перехватывало от страсти и азарта.

Я сильно разволновался, и вторая щука сошла с крючка.

— Э! — огорчился Степа. — Щука твердую руку уважает... А я, пожалуй, пошел.

— Куда ты, Степа? — всполошился я. — Уху сварим. Или щуку забирай! Это никуда не годится — добычу оставлять.

— Уха, конечно... Да за конями иду. Щука мне ни к чему. Надо, так я ведь поймаю. Пользуй ее на здоровье.

— Погоди...

Я вынул из кармана жестянку с крючками, набором якорьков-тройников, грузил, блесен, мотком жилки и прочей рыболовной снастью.

— Бери. Ну? Уговаривать тебя, что ли!

Глаза Степы разгорелись при виде бесценных сокровищ.

— Спасибо, дяденька, — прошептал он, пряча подарок в кепку.

Ушел Степа, оставив меня наедине с лесной речкой Еловухой. Я выудил еще одну щуку — на червя! — и тогда только вспомнил, что не сказал Степе «спасибо за науку». Такая досада!

КУКУШКИНЫ САПОЖКИ

В ДУШНОЙ сырости джунглей Амазонки, где над вершинами увитых лианами деревьев огненным клубком катится испепеляюще знойное солнце, где в болотных топях дремлет гигантская змея — акаконда, где по ночам терзают слух заунывные стоны сов, где человеку грозят гибелью даже полчища прожорливых муравьев, — там растут орхидеи. Их красота легендарна. Они волшебным образом принимают облик и огромной бабочки, и паука, и птицы. Их лепестки испещрены то солнечными пятнами, как шкура ягуара, то тигровыми полосами, то пронизаны будто живыми жилками.

В наших лесах тоже найдутся орхидеи — под елями да березами. Народные названия цветов и трав поражают своей меткостью и поэтичностью. Любка, ночная красавица... Тайник... Кукушкины сапожки... Это и есть наши орхидеи.

Первая из них — кукушкины сапожки. Она не уступает своей красотой орхидеям Амазонки, но, конечно, милее нам и ближе. Растеньице все невысоко, редко достигает высоты в полметра. А цветы крупные, нарядные, очень оригинальной формы. Самый большой лепесток похож на носок туфли, отчего эту орхидею на Украине зовут «черевичками», а ученые — Венериным башмачком. Яркий, желтый этот лепесток покоится на других — пурпурово-бурых. На стебле бывает от одного до трех цветков. Они долго не увядают, но никнут чуть ли не на глазах, едва их опылят пчелы.

В тропиках орхидеи корнями не соприкасаются с землей, растут прямо на деревьях, выпуская воздушные корни, как щупальцы. Есть орхидеи, чарующие глаз и в тоже время обладающие противным запахом. Подчас от них несет гнилым мясом, и такой запах привлекает тучи мух...

Нет, наши орхидеи чище, благоуханней южанок! И место им — в садах, парках, цветниках.

Жаль, что та же орхидея «кукушкины сапожки» довольно редка, прячется по кустам, на дне оврагов, в лесах. Гораздо обыкновенней ее ночная красавица-любка, ятрышник, отличающиеся дивным ароматом.

«Кукушкины сапожки» знамениты и потому, что долговечны. Пятнадцать — семнадцать лет собираются они с силами, чтобы внезапно открыться под сенью леса блистательными своими цветами.

ДИКАЯ УТОЧКА

ПО СТОРОНАМ улицы со следами шин и тракторных гусениц — великолепные сосновые аллеи, с прямыми, как по линейке проведенными дорожками. Такой густой зелени деревьев позавидует любой парк! Солнечные лучи увязают в густой хвое; красные стволы и сучья в легких тенях, дрожащих и прозрачно-синих...

Никто не сажал, не растил аллеи. Был тут сосновый бор. Строители вырубили его лентами, — чтобы только поставить дома, проложить улицы в поселке да провести дорогу в лесосеки. Домиков-коттеджей под соснами до сотни. Как на подбор, белеют свежеструганным деревом. Не успели посереть от дождей.

На зеленой лужайке вкопаны столбы, а между ними растянута волейбольная сетка.

По толстому отесанному бревну углем нацарапано косо: «Динамо», «Торпедо» — 3 : 1. Буквы неровные, писаны наспех и детской рукой. Кто-то пытался их стереть. Да, тут кипели страсти! Не лужок это, а поле стадиона. Футбольные ворота обозначены обломками кирпичей и рваной калошей.

— Такова-то наша лесная целина, — говорил мне начальник лесопункта Александр Иванович, с которым я встретился возле гаража. — Давно ли тут шумел сузем вековой! Строимся! Свой клуб, детский сад, ясли, амбулатория... И все это за какой-нибудь год. Обживаемся, пускаем корень.

Я переспросил.

— За один год? Раньше ничего не было? Ни одного дома?

— А что в этом особенного?

Глаза у Александра Ивановича лукаво прижмурились. Он покусал ус и проговорил:

— Не верите? Хотите я вам приведу доказательство, что нашему поселку и года нет? Так сказать, факты — упрямая вещь.

Мне оставалось кивнуть головой:

— Ну, где ваше доказательство? Давайте!

— Да его в руки не возьмешь — оно летает. А посмотреть можно.

Шутит Александр Иванович? Нет, он совершенно серьезен. Лишь глаза смеются.

Мы молча прошагали через поселок. Последний дом. На крыше — железная метелка антенны. Белоголовые девочки играют у крыльца, пекут из песка «пирожки». Мальчик лет девяти в линялой майке и трусах, успевший загореть до черноты, с платком на шее, стругает перочинным ножом саблю.

— Тима-а! — громко шепнула одна девочка, локтем утирая со лба пот. — Тимофей! Александр Иванович к нам пришел. Да брось ты саблюку-то, бестолковый!

Мальчик поднял на нас глаза и спрятал «саблюку» за спину.

— Юннат, — Александр Иванович тронул усы, чтобы скрыть улыбку. — Парнишка дотошный.

И уже другим тоном Тиме-Тимофею:

— Ну-ка, доложи обстановку.

— Все в порядке, — хрипловатой скороговоркой отрапортовал мальчик.

На задворках дома — озерцо. Почти лужа. Темная вода затянута ряской. У берега высокая трава. Громадные ели развесили щетинистые сучья.

На середине озерца плавает утка с утятами. Пушистыми комочками облепили они маму. И все-то они чумазые, и у каждого клюв лопаточкой. Они что-то ищут в траве, аппетитно чмокают и, запрокидывая головки, пьют воду. Один малыш изловчился склюнуть мошку. Едва удержался на воде, забавно махая неоперившимися крылышками.

— Видите? — кивнул на озерцо Александр Иванович.

— Вижу, — ответил я. — Утка. Ну, и утята.

— Но какая утка!?

Торжество прозвучало в голосе Александра Ивановича. А я подумал: «Далась вам эта утка. Было из-за чего через весь поселок тащиться». Вслух, однако, сказал:

— Домашняя, конечно.

И осекся.

— Позвольте, позвольте... Да это — чирок. Точно — чирок-свистунок. А утята — ну и шустрые! Сколько же их...

— Семь, — ревниво сопел у меня за спиной Тимотиофеем. — Утку пугать нельзя, она все-таки дикая. А Васька говорит: спробуем утенка поймать. У ней, говорит, много их.

Доказательство, которое летает... Да это ж скромная серенькая уточка-чирок. Дикая утка на задворках дома в лесном поселке!

Весной, когда возвращаются к нам с юга перелетные птицы, им далеко не все равно, где опуститься и завести гнезда. Их зовут к себе родные края, где впервые увидели они свет, где крылья подняли их в воздух. И ни бури, ни туманы, ни ветры — ничто не собьет их с избранного пути. У них впереди — родина. А она даже у перелетных скитальцев одна. Одна в целом свете!.. И ранней весной, оставив позади тысячекилометровые пути-дороги, уточка опустилась на знакомое ей озерцо. Не для того, чтобы отдохнуть, а чтобы вывести утят и чтобы они потом, другой весной, знали, куда им держать путь.

А здесь уже обосновался человек. Это не испугало уточку. Она осталась и вывела утят.

Я спустился к озерцу.

Уточка, тихо крикая, собрала выводок, шагнула в высокую траву. Там, наверное, был проход в другое, такое же маленькое озеро. Чернявые утята, резко загребая лапками, последовали за ней, что она тянула их магнитом. На мелкой, словно бусинки, зеленой ряске темнели каналы: где плавала утка — пошире, где ее чумазные утята — поуже. Илистый берег был в отпечатках босых ног. В воде мокла горбушка хлеба.

ЗАЯЧЬЯ КАРТОШКА

ДОЖДЬ-проливень умоет лес, напоит землю. И так славно пойдут грибы! Белые боровики, у которых золотисто-бурая шляпка похожа на пшеничный хлеб. Нарядные подосиновики. Маслята с липкой коричневой кожицей. Розовые волнушки. Синие, карминно-красные сыроежки... А опят по пням: хоть косой коси!

Открылась грибная пора, и по деревням тут и там вечерами пахнет дымом костров. Это ребятишки кашеварят, поджидая взрослых с работы. Похлебка из свежих грибов, заправленная луком и лавровым листом, вкусна. Разложены костры где-нибудь у воды, а маленькие повара то и дело в котелках ложками пробуют: как упрели, уварились грибки? Причмокивают, похваливая:

— Хороша свининка из-под кустика!

Любителей грибов и в самом лесу не перечесть. Таежные отшельники-глухари, тетерева, рябчики, кормясь на ягодниках, не прочь расклевать грибок и тем разнообразить свое меню. А сойки — голубые лесные крикуны — те мастерицы заготавливать грибы на зиму. Вороваты сойки, что плохо лежит — того и гляди, что стянут. Зато и свои грибные кладовые они устраивают с оглядкой: вдруг кто заметит и их, воришек, тоже обворует. Прячут сойки грибы в дупла, в хвою и щели в коре деревьев. Понятно, что так поступают они уже под осень, когда повеет в воздухе близкими холодами.

Известная мастерица запасть грибы впрок — белка. Опята и лисички, белые и подберезовики она сушит, накалывая на ветки, подвешивая в развилки сучьев. Будто знает: зимой съела бы грибок, да снег глубок. Летом пинком, зимой блинком — вот они, грибы, каковы! Сотнями сушит белка грибы к зиме. Тащит их на первое же подходящее дерево, предпочтительно на сухостойную елку — тут грибы на ветру, и солнце быстрее высушит. Ничего, что они на виду: не ей самой, так другой белке достанутся.

Лесные мыши тоже любят грибы. Но им подай грибок помятый, чтоб на зубах похрустывал, чтоб шляпка была по пуговице!

Бывает, срежешь грибок, плотный он, нечервивый, а на шляпке — следы мышиных резцов. И обидно, что

до тебя кто-то успел побывать на заветном местечке и не столько обрал, сколько испортил грибы...

Лоси, проведая о грибах, выходят из болот на окраины леса, где много сыроежек и рыжиков. Впрочем, лось не брезгует никаким съедобным грибом. Хватает грибы кряду, подбирает их подчистую.

Другой большой охотник до грибов бурый медведь. С весны, когда появляются первые сморчки, до поздней осени он и сытый гриба не минует.

Про себя же я считаю лучшим грибознаем зайца. И вот какой случай привел меня сделать такой вывод.

Дело было осенью: уже копали картошку. Запозднил я на охоте, смеркалось, когда вышел к бору, откуда было до деревни рукой подать. Когда-то в старину здесь пахали, однако песчаная земля плохо родила, урожаи были низкие, и поля забросили. С годами по межам поднялся березняк, сгладившиеся борозды заросли соснами, и стало в бору так просторно, чисто, как в ухоженном парке.

Шорох палых листьев под моей ногой вспугнул из березняка зайца. Косой близко подпустил меня, и я успел заметить, что он копался под березами. И дерн лапками в нескольких местах расчесал, и ямок вырыл порядочно. Что же это такое? Я нагнулся и в одной ямке подобрал... картофелину. Да, да, темный, землистый комок из заячьей копанки был точь-в-точь как картофелина. Есть такое растение — заячья капуста, почему бы не быть и заячьей картошке? Правда, картошина чуть сморщена, да, видно, в земле перележала, задержался косой с уборкой. Он же лопухий, какой с него спрос!

Ну, а все же: что это на самом деле заяц выкопал? Подземный гриб — трюфель. Редкий в наших местах гриб, о каком мало кто и знает. Охотники называют его «паргой». Но заяц-то каков — грибы и под землей чует!

ПЛАКУЧИЙ БАРОМЕТР

БУДЕТ завтра дождь или вёдро? Что гадать: послушай сводку погоды по радио или набери нужный телефонный номер, и автомат бюро прогнозов

бесстрастно сообщит: «По данным гидрометеослужбы в городе и по области ожидается...».

Это в городе. А если ты в лесу, у реки на рыбалке, в походе, — тогда как быть?

Ничего не остается другого, как воспользоваться услугами лесного бюро погоды. Есть в лесу и в поле своя служба погоды. Действует круглый год, ее работники всюду — в воздухе, на земле, в воде. Дают справки по первому требованию — ясные и исчерпывающие. Работает лесное бюро погоды на пытливых и любознательных, у кого острый, наблюдательный глаз...

На исходе погожий летний денек. Прогнали пастухи колхозное стадо; пахнет от дороги молоком, полем, травами — эти запахи принесли с собой коровы. Солнце скрывается за грядой леса. Вытягиваются густые тени, устилают муравчатый лужок перед избами. Над проселком, гудя, носятся навозные жуки. Наталкиваются на телеграфные столбы и падают, сердито жужжат.

У кого же взять справку о погоде на завтра? У жука, у полевых цветов, у солнца и неба?.. У всех вместе!

Жук-геотруп особенно активен перед ведром. Ожидается дождь, эти жуки не хуже барометра его предскажут тем, что не покинут своих земляных норок. Бывает, они в дождь-морось летают, — тогда жди перемены погоды. И будет она скоро отличной.

Накануне дождя солнце вечером садится в тучу. Багровый, красный цвет зари — вестник ненастья, к тому же с сильным ветром. А днем перед грозами небо кажется низким — мутное, белесоватое...

Пожалуй, всем знаком вьюнок. С цветами в форме граммофончика. Закрылись цветы вьюна среди бела дня — это предупреждение о дожде!

Просто?

Не будь опрометчив... Ведь те же геотрупы иногда, что называется, голову теряют: жужжат тревожно, ползают у норок, всем видом показывая, что чем-то обеспокоены и подавлены. Не ожидается ли сильная засуха?

За разъяснением обратиться к белой дреме. Она растет у полей, по межам и слывет за предсказательницу погоды. Белая дрема раскрывает свои цветы

вечером, подманивая ночных бабочек. Если сильно пахнет дрема к ночи, много вьется над ней бабочек — это примета на дождь.

Тогда почему жуки-геотрупы активны, и небо пожаром багровым полыхает, и солнце село не в тучу? Кому верить, когда нет согласия в лесном бюро прогнозов!

Верить жукам — они потому и хлопочут, ползают у норок, что издали почуяли приближение бури. Бури с ветром и ливнем — ведь неспроста дрема запахла и небо заполыхало!

Скучает над удочками невезучий рыбак. Утро прекрасно — ни ветерка, тишь, покой. Клевать бы рыбе да клевать, но спят поплавки. Вон какие голавли бродят в таинственной глубине омута, лениво шевеля рдяными плавниками, сверкая чешуей. Нет чтобы хоть одному сесть на крючок!

А мошкара... Откуда ее столько взялось, несносной, — лезет в уши, льнет к потному телу. Воюй тут с ней. Одна забота, раз не клюет! И невдомек рыбаку, что мошкара ему совет дает — сматывай удочки, дождь будет! Перестает рыба клевать — примета к плохой погоде. Посмотри, как голец старательно зарывается в песок. Так он делает только перед дождем или грозой.

Запастись удочками, накопать червей — мало. Чтобы быть с богатым уловом, еще нужно знать приметы погоды.

В лесу, обязательно около воды, встречается полосатый бурундук. Очень подвижен этот зверек. Сама резвость! Блестит черными глазками, будто смеется. Вытягивает шею, комично цыкает и свистит на тебя. А иногда нападет на бурундучишку тоска. Хнычет он, скучный, вялый. Пригорюнившись, сидит на пеньке, свесив хвостик. Не малиной ли, думаешь, ты, полосатенький, объелся? Не медведь ли позарился на твою нору-копанку и разорил?

Все не то. Бурундук — барометр. Не простой — плакучий! Ненавистен бурундуку дождь. С кустов каплет, шубку мочит... Перед дождем и горюет полосатый. Сидит на задних лапах, качается из стороны в сторону и вот стонет, вот хнычет. Своих лесных соседей предупреждает о скорой непогоде.

СПАСИТЕЛЬ

НЕСКОЛЬКО лет рыбаки держали на острове свой стан. Потом перебрались на другое озеро. Крыша погреб-а-ледника заросла лебедой и крапивой, землянки обвалились, в них пахло плесенью, из пощелевшей лодки выкипела на солнце смола. Лучше других построек сохранилась баня. Мы с Гошей эту баньку заняли под жилье.

Клев оправдал самые смелые ожидания. Вечером после заката солнца уверенно шел на червя крупный язь, как в кольчугу закованный в твердую, блестящую золотом чешую, утром, часов с девяти, брал окунь.

Костер, разложенный под ивой и не гаснущий по суткам. Уха в закопченном котелке. Залив с песчаным пляжем. И кроме нас — ни души...

— Красота! — говорил Гоша. — Живем, как ди-кари!

Днем он ходил, как есть, голышом. Хвастался:

— Семь шкурок с себя спущу. Загорю с запасом!

Но на острове мы оказались не одни. Погреб, землянки буквально кишели крысами. Они вели себя нагло. Прогрызли рюкзак, рассыпали сухари и сахар. Ку-кан с отборными окунями уволокли невесть куда — так мы его и не нашли.

— Сюда бы кота, — мечтал Гоша. — У, тогда бы крысам крышка!

Гоша придумал удить крыс. Наживлял крючок рыбешкой, забрасывал удочку в щель на крыше погреба. Крысы, не будь глупы, срывали рыбешку, грызлись из-за нее. От их возни и писка мороз подирал по коже.

По ночам противные твари шныряли вокруг бани, скреблись в дверь.

От опытных лесовиков я слышал, что мыши не переносят запаха багульника. Вдруг и крысы его не терпят? Стоит попробовать.

Мы переплыли озеро на лодке. Принялись за поиски. Багульник растет по болотам. Его жесткие узкие листья словно подбиты рыжим войлоком, изжелта белые цветы мелки и пахучи. Их аромат приятен, но привлекает одних мух. Шмели и пчелы избегают багульник. Это растеньице все — от листьев до цветов — ядовито.

— Анчар с крысами справится! — Это Гоша багульник окрестил так романтически — анчаром.

Места вокруг озера сухие, и сколько мы ни ходили, на болото не набрали. Ни с чем пришлось возвращаться к берегу.

Солнце садилось. Утих ветер. В кустах, принявших в себя вечернюю тень, гомонили птички, обрадованные прохладой. Пахло сосной и земляникой.

Внезапно поднялась в кустах тревога. Горихвостка выкрикивала: «Уи-тик-тик! Уи-тик-тик!» Истошно стрекотали дрозды.

Мы заглянули в кусты. Подпрыгивая в высокой траве, еж ловил птенчиков. Из зубастого его рта свисала птичья лапка, судорожно подергиваясь.

— Агрессор! — бросился Гоша к ежу.

Ежик спрятал мордочку, свернулся клубком. Гоша закатил его себе в тубетейку.

— А-а... поймали! — И попробовал пощекотать ежу живот. Ежик высунул из колючек тупое рыльце и укусил его за палец.

— Это тебе не пройдет даром! — закричал Гоша. — Мы тебя лишим свободы! Это возмутительно... Я с первого класса о ежиках читал. И такие они, и сякие. Очень симпатичные! На колючках яблоки носят. Природа! А они, на тебе — птенцов едят и кусаются. Это разве природа?

Ежа мы привезли на остров, а чтобы не сбежал, заперли в погреб.

Клевало опять хорошо. Мы удили до темноты. Вместо окуней и плотвы стали садиться на крючки ерши.

— Что за рыба — одни колючки! — ворчал Гоша. — Тоже ежи, только водяные. Ой-ой! — вдруг ойкнул он.

— Ш-ш-ш! — остановил я его. — Тихе, язи на подходе.

— Какие язи... Ежик. Про ежика забыли!

— Никуда не денется твой ежик.

— Да его крысы съедят!

На острове мы первым делом бросились к погребу. Конечно, еж — разоритель гнезд птичек, однако погибнуть от крыс... В наши намерения не входило наказать его столь жестоко!

Я включил фонарик и отворил дверь. Пахнуло затхлой плесенью. На пороге лежали четыре крысы. Они были разложены рядом хвостами к двери. Все мертвые! А еж — целый и невредимый — фыркал на нас из угла.

— Вот так ежик-колючка... — облегченно улыбнулся Гоша. — Почему их только вместо котов дома не держат? Разве коту с ежиком сравниться! Разве кот на спине яблоко пронесет! Куда ему! А молоко и ежик чудесно лакает.

ДОЗОР В ПОЛЯХ

СО ВСЕХ сторон видна столетняя береза среди полей, на взгорке. Горюнит глаза прохожим, посохла на корню. Прутья опали, кора отстала — дребезжит при порывах ветра. Ствол в грибах-трутовиках, напоминающих огромные лошадиные копыта.

Один раз на березу взгромоздился орел-беркут. Нахохлившись, он немигающим взглядом провожал солнце. Зажатая в крючья лап, мышь пятнала кровью белый сук, на котором угрюмо сутулился беркут.

В синие сумерки я спугнул с березы сову. Она поплыла над рожью, скогтила на меже жалобно пискнущую полевку и возвратилась обратно на дерево. Села сова и заслонила желтый, как топленое масло, диск луны.

Чуть свет, березой овладевали ее завсегдатаи рыже-пестрые канюки. Их неподвижность могла обмануть. Сидит канюк-сарыч на обломанной вершине, — вроде дремлет, отдавшись солнечному покою полей, безучастный ко всему. Внезапно птица распахивает крылья. Плавный круг, отлогое пикирование в хлеба, и еще один грызун — расхититель зерна схвачен!

Днем рожью пролетал сорокопут — пегой, сорочьей масти, с длинным, сорочьим же хвостом. Обычно его с гомоном, оравой сопровождали птички, и он, как вор, юлил между кустами, стлался низко над землей.

Я видел, как сорокопут носил на березу и расклевывал зеленых кузнечиков, выслеженных с высоты дерева.

Непостоянен сорокопут в добрых делах! Ему бы, крючконосому, все вредными насекомыми да мышами питаться, а он летом лазает по чужим гнездам... Недаром же его преследуют мелкие птицы!

На поле пришел самоходный комбайн — жать и молотить рожь.

Невесть куда пропали с березы сарычи и сорокопуты. Одни пустельги, ныряя в полет с березы, шныряли над колосистыми волнами хлебов. Порой они, быстро взмахивая острыми соколиными крыльями, замирали — «тряслись» на месте. Они выжидали. Выжидали, пока подойдет красный грохочущий комбайн ближе и своим шумом выгонит из жнивья мышей.

Обедать жнецы уходили в деревню. Тогда пропадали пустельги. Посты на березе снова занимали или сарыч, или сорокопут.

Птицы — истребители грызунов, как часовые, стерегли поля, и сухая береза верно служила им сторожевой башней.





ИЗВИДИМКА
В ЛЕСУ



В ЛИСТОПАД

СВЕТИТСЯ в излучине ручья отражение черемух. Багряное отражение на коричневой воде под голубым небом. Рядом, среди травы, розовый куст бересклета.

Пунцовым платком машет рябина вслед журавлиному каравану. «Курлы... курл-курлы!» — кричат журавли. Прощальные их голоса так идут к холодку сырых оврагов, к сумрачной темени осенних вод, к поределым рощам, осыпающим листву...

В чем причина листопада? Дерево питают корни, словно насосом нагнетая соки, взятые у земли. Дышит листьями дерево, ловит солнечные лучи, и не будь листьев, хвои, оно бы задохнулось от удушья. Чем зеленее дерево летом, тем здоровее. Осенью корни откачивают уже из листьев соки — запасают силы впрок. Понятно, что листья в этом случае сохнут. Но посмотри — листья опали, а на ветках новые почки! Теряя пестрый осенний наряд, деревья и кусты тем самым готовятся к новой весне.

Осенью осыпаются лиственницы. Часть хвои теряют сосны. Причем у сосен заметно посерели стволы. Охотники заметили давно: когда посереет чешуйчатая кора сосен, то и у белок начнется линька. Защищают белки в новых шубах — не в красных, как летом, а в дымчато-серых и пушистых.

Листопад прибавляет забот обитателям лесов. Зайцам в каждом шорохе мнутся шаги врагов. Напуганные шелестом опавших листьев, косые перебираются к полям, на опушки лесов.

В сумерки без устали семенит короткими лапками еж. Накалывает листья себе на иголки и таким разноцветным клубком катится к кусту, облюбованному для зимней квартиры. Собрать листья — это одно, а вот скинуть ношу с колючек — это другое! И сопит ежик, пыхтит, трется спиной о траву и кустики. Раз любишь мягкую постельку, приходится постараться!

Непрочь запастись листьями для подстилки барсук и медведь. Но если мишка носит листья к берлогу в лапах, то барсук, пятясь задом, загребает и везет их в нору целым ворохом.

НА ПРОСЕКЕ

НЕ В ДУХЕ явился Пров Степанович в правление колхоза. Тучный, с крупной седой головой, тяжело ступая, прошел он в кабинет и тотчас принялся звонить в производственное управление: оттуда чуть свет обещали пригнать машины под телят, подготовленных к сдаче на мясо. Сейчас скоро девять, а машин нет и нет.

Едва Прова Степановича соединили с управлением, не успел он изложить претензии, как связь внезапно нарушилась.

— Кажинный раз на этом месте! — загредел вконец разгневанный председатель.

Нужно сказать, что со связью вот уже несколько дней творились странные вещи — на линии, проходившей лесной просекой, чуть поодаль от большака, кто-то обрывал провода. Колхозный монтер Сема, подстать председателю колхоза, человек горячий до вспыльчивости, валил на мальчишек: дескать, они балуются. Ходят на просеку за малиной и из озорства портят линию. Кое-кому из босоногих коноводов он уши надрал. Но ребята клялись, что ни столбов, ни проводов они мизинцем не трогали. Сема и подкарауливал в кустах озорников, и произвел тщательный осмотр места происшествия — все впустую. Действительно, мальчишки бегали на просеку только за малиной. Что касается телефонных столбов, то на них Сема ни-

чего не обнаружил, кроме царапин, оставленных своими же железными монтерскими «кошками».

Было от чего нервничать!

Из кабинета председателя Сема выбежал красный, как рак. Видно, крепко досталось за халатность от Прова Степановича. Да и то надо понять: страда, идет сдача хлеба и продуктов животноводства государству, а из-за неполадок на линии ни с бригадами связаться, ни с управлением поговорить.

Ребятишки потом уверяли, что дядя Сема, обжигал руки, тут же у правления колхоза нарвал в канаве пук крапивы и, размахивая этим орудием возмездия, загребая пыль рыжими сапогами, пролетел через деревню, крича с угрозой:

— Я им покажу, сорванцам!

Обрыв провода Семен по-прежнему относил на счет мальчишек. Они! Больше некому! Ничего, крапива-то уж их образумит.

Полтора километра до просеки Сема бежал, словно на кроссе. Пот заливал лицо, сердце колотилось.

— Я им покаж-жу!

Опустился на четвереньки и пополз в кустах. Таился. Наконец выглянул.

Ага-а! Вон на столбе кто-то орудует. Маленький, большеголовый. Кепчонка вроде бы рыжая, как и пиджачишко. Впопыхах больше ничего издали Сема не разглядел и начал подбираться ближе.

«Дзинь... дзин-н-нь», — жалобно звенели провода. Этот ноющий звук распалаял и горячил монтера. Провода словно молили о пощаде.

«Дзинь-нь... дзин-н-нь!»

Сема не выдержал, снова высунул голову из кустов малинника и обомлел. Шагах в пятидесяти на просеке темнела фигура медведицы. Опираясь на передние лапы, медведица полулежа жмурила дремучие глазки на медвежонка, забравшегося на телефонный столб. Косматый проказник забавлялся. Когтями лап он натягивал провод и, подставив ухо, отпускал. Провод издавал сильный дребезжащий звук, и это медвежонка очень занимало. Невообразимое удовольствие было написано на его круглой, с носиком пуговкой морде.

— Вот так рыжая кепчонка! — с досадой пробормотал Сема.

Второй медвежонок валялся у мамыши под боком. Лизал вздувшийся живот и с вполне отчетливым намерением взирал на братца на столбе. Было ясно: и этому не терпится поиграть проводами. Зазевается его мамыша, и он тоже взберется на столб.

— Ах, я вам, бездельники! — гаркнул вдруг Сема и выскочил из кустов, размахивая пучком крапивы. — Вот я вам!

Медвежонка со столба как ветром сдуло. Упав, он шмякнулся оземь и заскулил, но, получив шлепок от мамыши, первым кинулся прочь с просеки.

В мгновение медвежья семейка исчезла из глаз. Только оборванный провод, свесившийся со столба спиралью, позванивая, напоминал о происшествии. Все тише звенел, все глуше...

ВЕЛИКОЕ КОЧЕВЬЕ

У МОЛОДЫХ берез лопаются верхние пленочки бересты. Они тонки, серебристы и как бы припудрены, пачкают руку пылью. Лопаются пленочки, зная, выросли за лето березы из своих светлых одежек!

По крайке рощи рассыпался табунок зябликов. Один зяблик на кусту калины выклевывал мошек из сети паука. Нить паутины, прилипнув к лапке, просверкала на солнце. Вспугнутые зяблики уселись на провода, — через лес, по лугам и полям шагали металлические опоры высоковольтной линии к городу.

Птичьи стаи на проводах — знаменательная примета. Наступает время отлетать летним певуньям «с милого севера в сторону южную». У каждой пташки, как говорят, свои замашки. Среди зябликов, полевых жаворонков, скворцов дальний путь обновляют молодые, нынешнего выводка птички. У славок-черноголовок, кукушек, сорокопутов-жуланов, наоборот, первыми летят старики. Лебеди и журавли — молодые и старые — летят вместе, при этом с самыми сильными, самыми опытными птицами во главе стай. Живущие колониями чайки и ласточки-береговушки и на юге, на местах зимовок, держатся семьями.

Поодиночке исчезают от нас кукушки, вертишейки, выпи, коростели. И ястреба-перепелятники летят порознь, однако в пределах видимости друг друга. Большинство птиц, легко убедиться, образуют стаи — со своим построением в походе, со своей дисциплиной. У гусей, лебедей и некоторых других крупных птиц, а также уток походный строй чаще всего «клином», стаи достигают больших размеров, порой в сотни и тысячи птиц. Густой замкнутой стаей совершают дальние перелеты кулики, скворцы, мелкие певчие птички. А кулики-сороки растягиваются на пролете цепочкой.

Чемпионы пролетных стай — ласточки и стрижи. Они несутся со скоростью 100—120 километров в час. Скворушка немногим отстает, делая в час до 80 километров. Однако, если не понуждают обстоятельства, птицы за сутки проделывают небольшой отрезок пути, остальное время отдыхают и кормятся. Дневная норма ястреба-перепелятника, например, всего двенадцать с половиной километров, зяблика — семнадцать.

Моря, океаны, знойные просторы пустынь, горы — поле птичьего марафона. Обитательницы тундр Заполярья — золотистые ржанки — зимуют на Гавайских островах. Без отдыха, над открытым морем они находятся в воздухе по тридцать пять часов! Но и им, пожалуй, придется уступить обыкновенной трясогузке. Над Сахарой трясогузки не делают привала по сорок часов. Гуси, пролетая над снежными шапками вершин Гималаев, забираются на высоту в девять с половиной километров. Так что полеты могут быть и дальними и высотными.

Поистине редкое зрелище удалось наблюдать экипажу советской подводной лодки в годы Великой Отечественной войны. Находясь вдали от берегов, посреди Черного моря, лодка всплыла. И увидели подводники множество гусей-гуменников, отражавшихся в спокойной воде. Гуси отдыхали. В этом не было ничего удивительного. Удивительно было другое, — рассказывает очевидец события, — что на каждом гусе сидело... по перепелке. Они обессилели в длительном полете. Гуси вели себя совершенно мирно. Не пытались нырять или сбрасывать незваных седоков.

Нелегко, что и говорить, даются порой птицам их дальние кочевья. 17 тысяч километров — от островов

близ Северного полюса до Антарктиды — преодолевают осенью заполярные крачки. Кроме них, в птичьем мире никто не знает таких продолжительных маршрутов.

Первыми, в начале августа, нас покидают овсянки-дубровники, милые, с меланхолической песенкой птички. С заливных лугов Северной Двины, с присухонских низин лежит их дорога в Китай, в страны Юго-Восточной Азии.

А замыкает движение птичьих армад маленькая зарянка, та самая бессонная певунья, чей голосок, едва-едва забрезжит заря, уже оповещает лес о близости утра. До морозов она с нами. Мелькает ее грудка среди белых снегов, как подхваченный ветром осиновый лист...

Осень. По берегам рек, на лесных просеках, в луговых кустарниках то и дело видишь перья: солнечно-пестрые — вальдшнепа, дымчато-сизые — витютеня, острые и коричневые — уток. Закончили они линьку, подготовили крылья для великого перелета!

ЛАКОМКА

СТЕПИН лог. Его отвоевал у леса лет семьдесят назад мой дед Степан, и с той поры осталось за логом его имя.

Чаща у лога дика и громадна. Вступишь в нее, и ощущение необъятности этого зеленого хвойного мира, полного невнятных шорохов, шепота листьев, охватит тебя и уже не отпустит целый день.

У просеки — основного моего охотничьего маршрута — я, к своей досаде, обнаружил разоренное гнездо земляных шмелей. Я разведal его летом. Дело прошлое, слюнки текли, когда я подходил к знакомой ели, где под корнями все лето благоденствовали шмели. Мед их прозрачен, как родниковая вода, душист и сладок — мед в восковых горшочках. Мед и вкусный «хлебец» из пыльцы цветов. И вот — ни меда, ни хлебцев.

Подозрение пало на куницу. Ее следы попадались у ручья. Позднее удалось вспугнуть зверька: когда в

треске сучьев я ломился сквозь заросли вереска, он выскочил из дупла и стремглав взметнулся на старую осину.

Куница оседлала толстый гладкий сук, села не вдоль, а поперек его и свесила хвост. Она без страха взирала сверху на человека с ружьем и в бинокль казалась мне совсем близкой. Будь в том нужда, я бы пересчитал щетинки в ее усах. Черные блестящие глазенки стреляли по мне, в зрачках дробились зеленые искры. Куница, точно на показ, выставила яркое желтое пятно под горлом. Оно походило на блик солнца.

— Сознавайся, проказница, ты мед съела?

При звуках моего голоса куничка подобрала хвост, наострила ушки и растянулась по суку.

— Сладкоежка, — отчитывал я ее, — без меда шмелей оставила. Не стыдно тебе?

Она коротко проворчала.

— То-то! Дрожишь теперь за свою шкурку? Дрожи, дрожи...

Куница, ни с того ни с сего, вдруг зевнула, до дёсен обнажив белые острые зубки и как-то по-кошачьи выгибая розовый язык.

Да, ей скучно было слушать мои нотации!

Куничка очень любит мед. И белка, и рябчик, порой глухарь или заяц становятся добычей ловкой лесной хищницы. Однако она всегда не прочь отведать меда диких пчел или шмелей. Лакомка — что с нее возьмешь!

Наступила осень. Грустный запах палой листвы стоял в затишках, не выветриваясь, и усиливался к вечеру.

Вечером в погоне за тетеревами я вышел на поляну, поросшую кое-где крушиной и рябинами. Смеркалось, и на синей стене пихт красные рябины, сплошь в гроздьях ягод, проступали отчетливо и ярко.

На рябине сидела куница и спокойно, не морщась, щипала ягоды, хваченные первым заморозком.

О вкусах, известно, не спорят. И сладкий мед, и горькая рябина кунице равно милы...

«Эх ты, сладкоежка!» — Я бесшумно отступил с поляны в гущу кустов.

Зачем было куницу беспокоить: после меда рябина — не велико удовольствие!

КУРОРТ ПОД ЕЛКОЙ

РЫЖИЙ купол муравейника осеняли зеленые еловые лапы. Под слоем черной истлевшей хвои, прутьев и пышного желтоватого мха скрыта земля, а у муравейника фундамент из белого песка, крупного, как дресва. Где его добыли лесные работники, — их производственный секрет. В четыре стороны от муравейника проложены дороги. Широкие, ухоженные: ни прутика на них, ни былинки, весь сор выскребен до голой почвы, и корневища блестят, словно отшлифованные лапками муравьев. Дорогами был соединен муравейник с соседней елью, старой вырубкой. Самая же длинная, протяженностью за тридцать метров, дорога уходила куда-то на противоположный берег ручья. Сухая, с облезлой корой осина, вывороченная ветром, использовалась муравьями, как мост.

Муравейники подчас сравнивают с городом. И чем не город хоть этот, если в нем чуть ли не миллионное население! Муравейник выше полутора метров, сложен прочно, благоустроен — чего стоят хотя бы его дороги, его расположение на солнечном пригреве в окружении кустов жимолости, под шатром густой хвои. Но если б мне сказали, что муравьиный город под елкой — курортный, то я б рассмеялся:

— Э, куда хватили... Курорт? Да с какой стати!

А теперь и я заявляю: курорт. Конечно, лесной, для обитателей леса.

Близ муравьища постоянно держались крапивники. Потешные птицы! Кругленькие, миниатюрные, в коричневом, испещренном светлыми крапинами оперении, с задранным вверх коротким хвостиком. Непоседы, они шмыгали в навалах бурелома, в кучах хвороста, протискиваясь в такие узкие щели, где и мышонку не пройти. А голос... Трескучие выкрики крапивников были слышны издалека. И поют они необычайно звучно, мелодично, — откуда что в такой крохе берется! Мала да удала!

Я одного крапивника застал за странным занятием, и с этого все и началось. Сидя на муравьином мосту через ручей, крапивник ловил пробежавших мимо рыжих хлопотунов. Крапивник муравьев совал себе под крылья, втирал их в пестрые свои перышки. На мосту

мгновенно возникло то, что шоферы называют «пробкой». Муравьев скопилось... уй-юй! Выставив брюшка, брызгаются едкой пахучей кислотой, и над крапивником вспыхнул прозрачный радужный ореол. Крапивник не делал попытки избавиться от напасти. Он трещал, поворачиваясь под струйки кислоты то одним, то другим боком, утомительно важно распускал округлые крылышки, закатывал глазки. Крапивнику было приятно. Он принимал душ. Из чистой муравьиной кислоты!

Я знаю, больным воспалением суставов, ревматикам, назначают протирания из муравьиной кислоты. Но крапивник-то не походил на больного. Уж не пользовался ли он муравьиным душем, так сказать, с профилактической целью? Если зима выдастся не суровой, то крапивники останутся в родных лесах, не откочуют к югу, а тогда и простудиться, нажить ревматизм на морозе недолго. Нет, уж лучше заранее подкрепить здоровье. Благо, курорт рядом — под елкой!

Купаться в муравейниках любят лесные птицы — от глухаря до сойки, дрозда и малиновки. Глухари, тетерева, рябчики, куропатки приходят сюда со своими выводками.

При этом их привлекают больше всего вкусные муравьиные куколки, вообще-то они предпочитают солнечные песчаные пляжи. Порыться в песке, покупаться в пыли — вот их курорт! Зато ворона — истая любительница муравьиных душей. Зарывшись поглубже в муравьиную кучу, она сидит в ней минут по двадцать. Стонет да сидит, облепленная негодующими муравьями!

ТАЙНА СТРЕКОЗИНОГО КРЫЛА

ЗАИЛЕННЫЕ протоки, плыть которыми мучение, узки, и весла запутываются в водорослях. Непролазные ивняки, хвощи, дудник, камыши — на десятки километров сплошь камыши. Издали — дым труб Сокольского бумажного комбината. Гудки пароходов, перестук катеров с Кубенского озера...

Это и есть «пучкаса» — обширная, вся в мелких озерцах заболоченная низина в Присухонье, приют утиных стай, куликов и чаек. С весны и нередко до позднего лета она затоплена водой.

Комаров тут! А где комары, там и стрекозы-коромысла.

В тот вечер словно живая сеть повисла в воздухе, когда стрекозы поднялись с камышей на дозор. Их были тысячи. Крылья издавали сухой, дребезжащий треск. Членистые брюшка отсвечивали медью и еще каким-то голубым металлом.

Медленно, широким фронтом стрекозы обтекали низину. Они беспрестанно жевали, шевеля клещатыми челюстями обросшего темным волосом рта, и что-то жуткое было в этом движении зазубренных хищных челюстей, в шорохе крыльев, в тенях, мелькавших по камышам. Не успевала скрыться одна армада, как надвигалась очередная. Лапки стрекоз были вытянуты вперед и скрючены, готовые цапать, хватать добычу, мертвенно тусклы были выпученные глазищи. Шарят по камышам глазищи, стерегут, ищут... И дребезжат прозрачные крылья в полете, и мелют в крошево комаров и мошек мощные челюсти-клещи.

Стрекоза в полете — это стоит посмотреть! У ней четыре крыла. Она может делать взмахи передней парой крыльев, оставив задние в покое. Может, подобно вертолету, повиснуть в воздухе. И тут же резко взмыть вверх или спикировать вниз, преследуя добычу, или полететь, даже задом наперед! Иногда, уловив восходящий воздушный поток, стрекоза планирует. Однако ей доступны и высокие скорости. Известен случай, когда стрекоза обогнала самолет, делавший 144 километра в час.

Первые авиаторы изучали полет не только птиц, но и насекомых — бабочек, жуков, кузнечиков... Форма самолета-моноплана, например, явно заимствована у бабочек-бразжников.

Тем не менее стрекозы, непревзойденные летуны, долго оставались вне внимания создателей авиации. И это-то обстоятельство неожиданно возымело тяжелые последствия...

В 30-е годы мир был потрясен авиационными катастрофами. Новые скоростные самолеты развалива-

лись прямо в воздухе, как от взрыва. Грозное явление получило наименование «флаттер». Вот как его описал наш известный летчик-испытатель Герой Советского Союза Марк Галлай: «Медленно, как ей и положено, ползет стрелка указателя скорости. И вдруг — словно огромные невидимые кувалды со страшной силой забарабанили по самолету. Все затряслось так, что приборы на доске передо мной стали невидимыми, как спицы вращающегося колеса. Я не мог видеть крыльев, но всем своим существом чувствовал, что они полщутся, как вымпелы на ветру. Меня самого швыряло по кабине из стороны в сторону... Грохот хлопающих листов обшивки, выстрелы лопающихся заклепок, треск силовых элементов конструкции сливались во всепоглощающий шум».

Тонки, непрочны стрекозиные крылья. Так как же они выносят напряжение полета, когда у машины не выстаивает проверенный металл? Прозрачные хрупкие крылышки в сети жилок... Если они способны своими взмахами разогнать насекомое до удивительных скоростей, то какие же возможности у крыльев, несомых могучим мотором! Но крылья-то из металла и не выдерживали.

После трудов и поисков, ошибок и разочарований конструкторы нашли, что уже простая добавка груза на концы крыльев избавляет скоростные машины от аварий. Стали к тому же переходить к обтекаемым формам самолетов, усиливали фюзеляжи, и постепенно флаттер был преодолен, стали самолетам подвластны дотоле небывалые скорости. И лишь тогда, с дорого оплаченным запозданием, вскрылось, что секрет аварий, в полном смысле этого слова, витал в воздухе и сам просился в руки!

У крупных стрекоз, тех, что великолепные летуны, на крыле есть хитиновое утолщение, темный «глазок». Для чего он, никто не дал себе труда изучить. Может, для красоты? Нет, глазок-то утяжелял крыло! Стоило крылья лишить «глазков», и стрекоза не рисковала набирать скорость, характер ее полета изменялся: она уже порхала медлительно, плавно, будто мотылек.

Так обнаружилось, что крылья крупных стрекоз снабжены противофлаттерным устройством. Простым

и надежным — ведь точно до такого же ученые доискивались немало времени!

...Стрекозы, стрекозы над низиной. С комарьем, мошкаррой они расправляются прямо в воздухе. Поймав же в лапы слепня или овода, садятся закусить на стебли осоки и камыша.

Наутро стрекозы пропали. Попадались, но как обычно.

Не видел ли я вчера их пролет? Крупные стрекозы иногда совершают перелеты, сходные с птичьими, на сотни километров, собираясь стаями. А что зовет их в дальние кочевья, это до сих пор остается загадкой.

ПАСТУХИ

ЛЕТОМ Федя Теремов пас с отцом колхозное стадо. Было в нем пятьдесят коров да десятка полтора нетелей, постоянно отбивавшихся от гурта с молодым быком Радием. Находился лагерь пастухов километров в семи от села, под соснами на бугре, где долгие годы стояла развалившаяся, темная от старости часовенка. Жили в ней летучие мыши, гнилую кровлю облеплял зеленый мох. В самый зной несло из часовенки затхлым холодом, под порывами ветра она шатко скрипела, будто жалуясь на дряхлую немощь... Вечерней тишиной по сухой коре сосен шелестели лапками муравьи. Явственно можно было разобрать, что передает в ближней деревне радио, как играет гармонь и кричат ребята, должно быть, гоняя мяч. И Федя, потому что неделями не бывал дома, скучал и по друзьям, и по футболу, было ему одиноко и тоскливо. Он забирался в шалаш, лежал, закинув руки под затылок, и когда отец звал ужинать, не откликался.

В школу Федя пришел в мешковатой, купленной на вырост форме и жестком картузе с гербом. Портфель тоже был новый — такой вместо мяча не попинаешь, совестно! Кроме учебников и тетрадей, лежала в портфеле трудовая книжка, выданная Феде правлением колхоза, электрический фонарик и авторучка. Сам зарабатывал, отчего ж было не потратиться! Федя давал

поддержат товарищам фонарик, напускал на себя безразличие, принимал восторги, как должное, но все чего-то не хватало, казалось ему, покупки по достоинству не оценены.

— А вот было-о... — заводил он, для пущей убедительности нараспев. — Один раз к стаду волк выскочил. Из кустов. Коровы-ы... ну-у, шарахнулись, ну-у, задали драла! Я не растерялся, та-ак оплел волка кнутом, наверно, шкуру насквозь просек! Он хвост поджал, больше на глаза не показывался. А еще было — середь ночи сыч на часовню прилетел. Уж пучил глазищи, кривым носом нащелкивал да гукал — прямо по коже мурашки!

Внутренне сопротивляясь своей лжи, Федя увлекался и рассказывал, как повстречал в лесу медведя — да ведь нос к носу! Хорошо, без ружья был, не то б косолапому не поздоровилось! А ученье журавлей вы видали? Куда вам... Старые журавли журавленка с обрыва сталкивали, чтобы не притворялся, что летать не может. А слышали про кузнечиковый дёготёк? Где вам уж!.. Пяткой Федя на сучок напоролся, до кости просадил. А стоило дёготьком, который кузнечики из рта капают, смазать рану — к утру зажило, ровно собака зализала. У Феди, знаете, знакомый был кузнечик. Когда ни попроси дёготьку, давал без возражений!

Правда не устраивала. Думалось Феде, скажи он, что было на самом деле, — никто слушать не станет. Корова Аглая увязла в болоте, полдня с отцом возились, вытаскивая ее из трясины. Другая корова телиться в лес убежала, — нашли уже с теленком. Бывало, по трое суток Федя с отцом мокли под дождем, не было времени обсушиться... Что в том интересного, одна скука!

Подкралась незаметно осень. Стаями по селу носились дрозды, сыто квохтали на рябинах. Пожелтели липы школьного сада, насыпали листьев на крыши, на дорожки. Ребятам нравилось сбивать ногами листья в вороха и втихомолку поджигать чадные костры.

И Федю потянуло к кострам, к треску сучьев на огне. Стали вспоминаться ему сосны на бугре, дряхлая заколоченная часовенка при дороге, шалаш, крытый брезентом, и похлебка, упревшая в котле над пастушьим

костром. Похлебку варили из крупы и сушеного мяса, а если с утра удавалось поудить, то из пескарей и окуньков. Ах, вольно было!

Славно было вставать до солнца, брести к реке лугом и по пояс мокнуть в росистой траве, а потом сидеть у омута и, обмирая, следить за перяным поплавком. Кто клюнет? Кабы золотой линь польстился на червя... Ах, кабы линь! Пахло мятой, утихали скрипучие крики коростелей, стелился над водой туман. Из гущи трав вылезал на сухую былинку зеленый кузнечик, чтобы пообсохнуть и запиликать на своей скрипочке.

Поднимались с лежки коровы, дышали парным теплым духом и жевали жвачку, устало двигая челюстями. В их покорных глазах, осененных белыми ресницами, дробились лиловые и блестящие точки. Под навесом, позевывая, переговаривались доярки, шофер, привезший их на выгон, дремал в кабине, навалившись грудью на руль. И как звонко брызгали струи молока о дно подошников, как ослепительно сияла березовая роща, кипела сверкающей листвой, как невесомо плыли пышные прекрасные облака в небесной голубизне!

— Не все ведь дожди лили, было и ведро, — бормотал Федя, плетясь со двора в класс.

Ему уже хотелось покаяться в том, что он сочинил о волке (на самом деле забежала к стаду просто бродячая собака, Федя принял ее за волка и кинулся на нее с кнутом). И журавлей он видел лишь издали, когда они кормились на гороховом поле... Ничего такого особенного не было. Было что-то другое — не менее важное, только простое. Просто за лето узнал, что и он, Федя, на что-то годится. Что он способен, если надо, терпеть зной и ночной холод, дожди и пронизывающие до костей ветры.

Дожди, ветры... И кутайся в мокрый брезентовый плащ, который гремит полами, дрожи, как осиновый лист. А покинуть выгон нельзя: кто за тебя справит работу?

— Озяб, Федюшка? Поди к шалашу, погрейся.

— Не-е, папа. Ни капли не озяб!

Ни капли... Как же! Зуб на зуб не попадал у мальчишки, промокшего под проливным дождем до нитки.

Когда гроза, того хуже было. Боязно, когда гроза, и молнии гневно, огненными плетями хлещут по хмурым тучам, и гремит гром, сотрясая землю, и порывистый ветер гнетет деревья, уныло, заупокойно воет в старой часовенке... Но терпи, не оставляй поста. Раз вызвался дозорить стадо, покидать свой пост никак нельзя. Напугаются коровы грозы, разбегутся куда попало — после их ищи-свищи!..

— Радий, бык-то наш, вот грозы боялся, — шел-нул Федя на уроке соседу по парте. — Смиранный делался, ровно овечка. Так никого, даже батю к себе не допускал: рога выставит, слюну пустит, и вот копытом скребет, подгруздом-то трясет! А в грозу хоть верхом на быка садись — одно дышит тяжело да моргает...

— Полно врать, — ответил Феде сосед, а учительница, строго поджав губы, сказала:

— Теребов, ты нарушаешь дисциплину. Прекрати разговоры!

Федя поерзал за партой и умолк. Больше сидеть в классе, с его чинной тишиной, стуком мела по черной, свежеекрашенной доске стало почему-то невмочь. И на перемене сбежал Федя с уроков, оставив в парте и портфель, и авторучку, и фонарик, горевший теперь, когда включали, жидким слабеющим светом.

Луга пересекала железнодорожная колея. Два тепловоза ходко тащили состав с лесом: распиленными досками, сложенными на платформы бревнами. Состав растянулся почти на километр, и, пережидая, пока он не пройдет, Федя вдыхал смолистый запах бора. Это состав с лесом пахнул бором, смолой и хвоей. Пахнул в лугах, где трава поблекла и поникла, опаленная заморозком, где ветер свистел в голых кустах ивняка, и до леса было далеко-далеко.

Пусто в лугах. Нет чибисов — улетели. Нет бабочек, кузнечиков. Куда они-то делись от наступающих холодов?

Завидев впереди стадо, Федя помчался к нему, не разбирая дороги. Ботинки промокли. Он тяжело дышал, подбородок и шею щекотал пот.

Больше по привычке, чем по необходимости, коровы обмахивали себя хвостами. Иные дремали лежа, другие лениво щипали зеленую отаву.

Отец в своем неизменном брезентовом плаще сидел на бугорке и плел из ивовых прутьев корзину.

Бросился к Феде Пиратко, обежал вокруг, скуля, кинулся передними лапами на плечи, облизывая мальчику лицо.

— А-а, не утерпел, пришел! — сказал отец, поднимаясь Феде навстречу. — Я так и знал, что придешь нас проведать. Ну, как там, дома-то? Картошку не выкопали?

— Кончают... — Федя помолчал. — А к нам, папа, скворцы прилетали, прощаться наверно. И в скворешни лазали, и пели, как весной.

— Определенно прощались, — согласился отец. Он попыхивал папиросой и жмурил глаза. — Погоди, и здесь они будут. Непременно! Это в их обычае с пастухами осенью прощаться.

Летом у стада держалась большая стая скворцов. Куда стадо, туда и скворцы. Разойдясь по лугу, коровы выгоняли из травы мошек, ночных мотыльков, кузнечиков, и скворцы их ловили. Кормились из-под коровьих копыт! Устав или разленясь от полуденной жары, скворцы садились отдыхать прямо на коров, ездили на них верхом, и коровы их не сгоняли. Длинными клювами скворцы вытаскивали из их шерсти кровопийц-паутов. Скворцы привыкли к распорядку дня и за час до водопоя, опережая стадо, дружно летели к пруду. Пруд нарочно выкопан в низине, чтобы поить в нем скот, а не гонять на реку, где крутые берега. К пруду в зной коровы бежали рысью. Напившись, лезли в воду, и она из светлой и прозрачной делалась глинисто-желтой от поднятой со дна мути.

На ночлег скворцы собирались в сарай, поставленный на лугу для хранения сена. Из сарая их выжил ястреб: с утра подкарауливал да нет-нет и отбивал от стаи какого-нибудь молоденького скворчика.

Папа ястреба застрелил из ружья. И то ли напуганные выстрелом, то ли еще отчего, скворцы с луга исчезли.

— Ну-ну! Разлеглись... — прищелкнул Федя кнутом на коров. — Я вас хлестуном-то!

Залился лаем Пиратко. Скалил зубы, на скакивал на быка Радия, с которым были у него нелады, оглядываясь на Федю, словно ожидая от него одобрения.

Стадо потекло по низине к лесу, там трава меньше тронута инеями. Шагал Федя неторопливо, посвистывал, поглядывал в небо — не грозит ли дождем! А губы сами складывались в улыбку: хорошо! Хорошо идти за стадом с кнутом на плече, дышать вольным воздухом лугов полной грудью!

— Раз в пастухи нанялся, вся деревня у тебя в долгу!

Пиратко, услышав его голос, завилял хвостом, умно посверкивал желтыми зрачками.

— Ты что, против? Э-э, соображать надо... — Федя для солидности кашлянул. — Мы весной с батей какое стадо приняли? То-то и оно, что зимовка скота в колхозе была тяжелая, кормов едва достало до свежей травы. Было не до удоев, а как бы от падежа коров сберечь. А теперь погляди: вон Красуля поперек себя толще, вымя по земле волочится. Ну-ка по пуду молока в сутки дает, а ведь доходяга была, кожа да кости.

В лесу, оставив стадо на попечение пса, Федя пошел по знакомым местам — к ручью, в котором однажды поймал рака, к рябине с гнездом дрозда в развилке сучьев, к старому муравейнику. В ручье он умылся, покрикивая от студеной воды. Посмотрел, как на муравьище сонные, вялые муравьи закрывали хламом и сухими сосновыми иглами входы, готовя жилье к зиме. Гнездо дрозда давно опустело. И мало того — оно зеленело травкой! Видно, ветер занес в гнездо семена и они проросли!

— Дивно, — покачал Федя головой, разглядывая зеленое гнездо.

На грузовике к навесу привезли сахарной свеклы. Отец помогал дояркам сгружать ее и разносить по кормушкам.

Коровы заученно повернули из леса к бугру. Знали, что подоспело время вечерней дойки.

Федя заметил над лесом черное облачко. Оно росло на глазах и вскоре обратилось в громадную птичью стаю.

— Скворцы! — ахнул Федя. — Скворцы!

В шуме крыльев стая сделала круг над лугом и расселась на березы на опушке. Ветки гнулись под тяжестью множества птиц.

Как по сигналу, стоя вдруг взмыла с берез и в воздухе разделилась: большая ее часть рассеялась по лугу, а группа, десятка в три-четыре, понеслась к бугру на сосны.

— Эти наши, наши! — закричал Федя и, опережая стадо, помчался к бугру, но остановился на полпути, вслушиваясь.

Сидя на ветках сосен, скворцы пели. И песня их была воспоминанием о лете, потому что вплетены были в нестройную мелодию, пожалуй, голоса всех летних крылатых певуний: нежный говорок славки, крик иволги и трели жаворонка, а еще скрип колес по пыльной дороге слышался, стрекот кузнечиков и даже пощелкивание пастушьего кнута. Точно вернулось назад лето! Вернулось на сосны и пело, пело...

— Эти наши! — шептал Федя.

Почему не все скворцы поют, было ясно. Остальные-то скворушки уже простились с пастухами. Ведь не одно стадо паслось летом на лугах, не у них одних, Феде с отцом, была летом дружба с веселыми хлопотливыми скворцами.

НЕВИДИМКА В ЛЕСУ

ЗВУК шагов — сигнал для обитателей леса: прячась кто куда может! Заслышав тебя, старый глухарь-бородач, потеряв степенность, в испуге пешком удирает в кусты, чтобы заслониться ими и взлететь в грохоте крыльев. Белка, рассерженно цокая, скрывается в гуще хвои. Бьет дрожь зайца под елью. Даже мыши шмыгают в норы, даже чечетки, на что уж доверчивы, дождем брызжут с ольхи, где кормились. Лоси поднимаются с лежки и поводят широкими ушами.

— Тресь-тресь...

Сухая ветка попала под сапог. Наступил на гнилую валежину, обтянутую мхом.

Тресь... Тресь-тресь!

Бредешь и сокрушаешься: жаль, нет шапки-невидимки! А так ...что так! Ничего не видишь, сам оставаясь у всех на виду. И лес — как вымер.

Но есть, есть выход обойтись и без такой шапки! Стать невидимым без всяких чудес.

Главное, держись в лесу тихо-тихо. О неуклюжем человеке говорят: валит напролом, по-медвежьи. По-клеп на медведя! Он хозяин в седой глухомани, но когда нужно, по самому частому бурелому проплывает, сучка не заденет. Медведь, косолапый увалень, когда надо, голой своей ступней сперва землю ощупает, после шагнет — с опаской и бережением.

Бесшумная ходьба по лесам — искусство, приобретаемое годами и опытом.

Ну, а если ты выбираешься в природу редко, и любишь ее, и хочется тебе приобщиться к сокровенной ее жизни? Тогда как быть?

Выбери укромное местечко в лесу, на берегу озера, у излучины реки. Где понравится. Замаскируйся и жди. Сиди, не шевелись. Твоя неподвижность и сделает тебя невидимкой! Это не шутка, это вполне серьезно.

Как-то весной сделал я привал в березнячке. Местность была низменная, сырая. Опушенные нежной зеленью березки наливали воздух тихим лепетом. Дрожала и переливалась роса на стеблях высоких сочных трав...

Гляжу — кто-то перебегает в траве. Качнулся высокий лютик, и мохнатый шмель выпал из блестящей, золоченой чашечки цветка, свалился вниз. Завозился, загудел сердито, как контрабас.

А травинки все качаются. К моим ногам выбежал рябчик. Промок на росе. Серые перышки потемнели. Хохолок на голове слипся в забавную кисточку.

Загадываю: что рябчик делает? А он цветы рвет. Голубые незабудки. Что ли рябчике на букет? Один голубенький цветочек в черном клюве. Ну, рябчик, ну, прямо франт! Красные бровки, черный галстук по моде, а выступает-то как в траве! И этот голубой цветок... Франт, франт!

Гляжу, что дальше будет. А дальше... Разочаровал меня рябчик! Он рвал голубые незабудки и ел.

В другой раз стоял я в лугах на утином перелете. В сумерки утки с озер направлялись стаями в поля, кормились там колосьями, оставшимися после уборки.

Смеркалось. Угомонились стрижи. Стало прохладно. Стою я на ровном месте, прислонясь спиной к

стогу, и вижу, — стелет по дороге в село собачонка. Лапки ставит аккуратно, следки словно печатает по дороге. Понятно, не собачонка это, а лиса! Наверно, в село метит попасть. В курятник.

Поравнялась со стогом лисица. Ах, хороша! Валою шубке. На груди, или, как охотники говорят, «на душке» — белое пятно. Как салфетка повязана. Морда остренькая, шустрая и лукавая. По этой лукавой мордочке так и разлита тихая мечтательность, зеленые глазки прижмурены. Скользнули они по мне равнодушно. Я замер. Дивлюсь: осторожный зверек, лиса, но моя полная неподвижность и ее обманула! Не меняя позы, я спросил:

— Что задумалась, кумушка?

Как припадет к земле она, и хвост белым наконецником в лужу умокнула. Как припустит по лугу! С кочки на кочку. С кочки на кочку! Только ее и видел.

Или вот еще случай. Слов нет, прекрасна золотая осень. Осины полыхают пожаром — будто языки огня взметнулись над лесом. На облитый солнцем клен смотреть больно; так раскалены его желтые резные листья.

На земле пестрый ковер. Шуршат опавшие листья. То-то и оно, что шуршат! Под твоей ногой шуршат: «ш-ш-ш... посторонний!»

Я шел на крик дятла. Дятел вопил, точно его грабили.

Я недоумевал: кто бы мог его обидеть? Ухватистый лесной работничек за себя при случае может постоять! И я решил подойти на крик незаметно, чтобы стать незримым свидетелем, очевидно, любопытной лесной сценки.

Подошел под самую осину. Дятел не замечал моего присутствия, был целиком поглощен суетней и криками. Острый клюв его, как стрелка компаса, все показывал на круглый глазок дупла, выдолбленного в осине. У корней труха. Желтая, — значит дятел дупло пробил недавно. Для себя. А дупло кто-то занял!

История простая. Осень, и поселиться в дуплах на зиму желающих хоть отбавляй.

Из дупла неслись неизвестные мне странные звуки: какой-то писк и ни на что не похожий стрекот.

Отбросив осторожность, я поднял хворостину и ударил по осине. Дятел умолк, ныряющим полетом убрался в гущу леса. А из дупла выскочил сероватый пушистый комок. Сверкнули темные крупные глаза. Выпуклые огромные глаза!.. Стремительно пронесся зверек по наклонной ветке. Вдруг расправил крылья, вытянул хвост — и стремительно спланировал в березняк.

Я выгнал из дупла белку-летягу. Этот сумеречный и ночной зверек довольно-таки редко попадает на глаза человека. Лучше обыкновенной белки летяга лазает по сучьям, притом, и спиной вниз, а перепонки, растянутые между передними и задними лапками, позволяют ей делать «перелеты» до сорока метров.

Не подойди я осторожно на крик дятла, вряд ли бы узнал, чем был вызван переполох, и летягу среди бела дня, конечно же, не увидел бы.

ЧАРУСА

БОЛОТА, болота... Их плоские равнины в поросли багульника, ржавой осоки, белоуса. Корявые сосны наводят тоску своей уродливостью. Метутся водянистые тучи, моросит холодный дождь. Бесприютно, уныло вокруг.

Но и болото пригоже в цветении лета в солнечный день: мягки мхи, перевитые ползучими травами, прядями клюковника, пропитанные студеной влагой. Радут россыпи морошки, кусты спелой голубики. Вода озерец-луж голуба и ласкова, — если смотреть издали. Зовет к себе путника, измученного ходьбой по болоту, пышная зелень моховых берегов: приди, приляг!.. А прилечь попробуй-ка! В бездонную пропасть уходят «окна» воды. Черна, как тушь, эта вода. Кружатся в ней, колеблемые таинственным течением, листья, стебельки трав. Коварны мхи-зыбуны. Ступи — податливо разверзнутся под ногой. Неосторожное движение, растерянность — и сомкнутся над головой мхи, бесследно похоронят под собою. Чибис, хлопая крыльями, испуганно сорвется с травяной кочки:

— Чьи-вы? Чьи-вы?

Некому дать ответ.

Светит равнодушно солнце.

Молчат чаруса — непроходимые топи.

...На болоте Серый Мошок по утренним и вечерним зорям в мае яро токовали тетерева.

Я сложил из елового лапника «затулу», как называют шалаш местные охотники. Изрядно поработал, затула получилась на славу. Морозные утренники были в ней не страшны, так как я набил ее сеном, принес полушубок и валенки.

Старый лесник Евстигнейч предупреждал меня:

— Худое место выбрал. На Мошок никто не ходит. Смотри, без лыж не укажи: вешний наст — худая надежда. Вот и майские праздники прошли. Застигнет в затуле ростепель — журавлем закурлыкаешь! Летом из чистой гибели я там выручил лосенка. Мошкара его заела. Забрел в топь глупый и увяз по уши... На ремне его вытащил. Неделью поясницей маялся: тяжелеющий лосенок-то был. И это ты смекай: токовище-то на Мошке. Косачи не глупы, выищут местечко — на, поди, не подступишься!

Старик пощипывал жидкую, сквозящую бороденку, заволакивал себя чадом махорки-самосада из трубки с калиновым мундштуком. Один глаз его слезился, был красен и тускл — память о несчастном случае, когда от сильного заряда в руках тогда еще молодого Евстигнейча разорвало древнее, от дедов ружье-шомполку. Другой глаз светился по-молодому желтым, как у рыси, ободком.

— Разумей — старый ворон мимо не каркнет. Не нужна ведь тебя в топи гонит. Лукавые они!

У меня и поныне сердце замирает при воспоминании, как я бежал на лыжах по болоту, и одна неверная корка наста отделяла от пропасти. Лед на лужах хрустел, наст прогибался. Интересы ради, я пробил мерзлый снег шестом. Выше меня вдвое, длинный шест ушел в болото легко и не достиг дна. У ног растеклась мутная вода. Подо мной было не что иное, как мертвое, зарастающее мохом озеро.

Пасмурным утром я подстрелил из затулы косача. Тетерева токовали слабо, мешал им дождь, зарядивший с ночи. От крепкого наста-«сковороды» помина не осталось. Зачернели по болоту обнаженные кочки, снег

с них как слизнуло. Лед зловеще синел, выступила на нем вода.

Довольно, наохотился! Теперь забота, как отсюда выбраться. Я покинул шалаш. Тетерева разлетелись. Прежде я побегал у шалаша, чтобы согреться — застыл, валенки промочены. А до косача близко. Вот прыгну на ту кочку, с ней на другую... Бр-р! Озноб до костей прошибает! Ничего, дорогой согреюсь. Я резко оттолкнулся, прыгнул... И сразу провалился по грудь! За кочку я принял комья всплывшего торфа, своей тяжестью пробил непрочный ледок над топью. От дикого холода зашлось дыхание. Я барахтался, разгребая ледяное крошево. Студеная вода охватила тело словно тисками.

В кровь кусая губы, я отчаянно рванулся из моховой западни. Топь не выпускала. Засасывало. Густая грязь, смешанная со льдом, обволакивала, налипала, тянула вниз, все вниз... Чаруса! Я дышал хрипло. Губы спеклись. На лбу выступила испарина. Я ощущал, как опускался в зловонный провал. Да, мне стало чудиться, что торф, пропитанный влагой, заледевшие комья мха противно пахнут. От этого запаха тошнило.

В минуту опасности, на краю гибели — а мне случилось-таки бывать в переделках! — в эти мгновения сознание останавливается на каких-то незначущих мелочах. Дождь сыпал теперь попеременно с хлопьями сырого снега. Я дергался, пытаюсь вырваться из трясины, и только глубже погружался в нее, а сам думал: почему снег кажется желтым? Потом понял: взошло солнце. Достигая черных кочек, делался снег белым и таял. Снег валил хлопьями из мутной лиловой тучи. Стлалась над самым болотом непроницаемая сырая мгла, из которой сыпало лиловым снегом, становившимся желтым, потом белым, когда хлопья достигали кочек. Я видел перед собою кустик багульника. С него капало. От удара капель нижние листья багульника зябко вздрагивали...

Между тем, сдирая ногти, цеплялся я в мерзлую кочку, пока подмял и лег на нее грудью.словно живая, она выскользнула из-под меня, глубже погрузив в иссиня-черный ил и коричневую, пронизанную ледяными иглами тину.

Колыхалась, булькала, выпуская пузыри болотного газа, трясина. За каждый судорожный рывок я платил тем, что ниже опускался в топь.

Найти бы опору для ног, и я спасен!

Зябко вздрагивали подвернутые вечнозеленые листья багульника. С него текло, с жесткого, как из проволоки сделанного болотного растеньица...

А опоры нет! Хлопья снега залепили глаза. От холода коченели щеки. И почему-то хотелось спать. Уснуть и, проснувшись, узнать, что все это сон — болото, чернеющее обнаженными из-под снега кочками, лиловый снег, липкий бездонный провал... Нет, так не бывает! Я теряю самообладание, в этом все дело.

Пальцы свело. Я не почувствовал боли, когда ушиб их о пенек, скрытый в кочке.

Мне стало страшно. Страшно, что и эта кочка обманет подло. Обмирая, я подтянулся к ней и вцепился в пенек. В нем было спасение. Затрещали подгнившие корни.

— Крепись, милый!

Будто пень мог понять меня или хоть услышать... И тут ноги встали на твердую почву, вернее на лед. Под слоем мха был прочный лед. Теперь-то я знаю, что это значит — твердая опора!.. И как отчаянно запылал шалаш, подожженный мной, чтобы обсушиться у огня! И как плясал я у костра: от радости ли избавления, от холода ли, — неведомо мне, от чего больше...

В другой раз я попал в чаруса осенью. Дальний лес прельщает охотника не меньше, чем путешественника неизведанные страны. Невозможно миновать еловый остров, лохматой громадой лежащий среди мошкары! И я бродил от острова к острову, порой забираясь в поистине заповедные дебри.

При переходе по болоту путь преградила мокрая низина, кротко сиявшая бесчисленными лужичками. Островки мха, перешейки, протоки... Настоящий лабиринт! Из коричневого торфа кое-где пучками пробивалась осока, краснел «кукушкин лен». Этот мох сух и упруг, как ворс дорогого меха. Но где «кукушкин лен», там и зыбуны-чаруса. Верная примета!

Э, рискну... Я пошел, проверяя себе путь шестом. И забрел... Кругом вода!

Остановился вздох перевести — выше колен увяз. Сапоги залило. Жидкий слой мха трясся подо мной, что студень, грозил прорваться.

Повернул обратно, зачавкал сапогами по собственным следам. Среди тощих кривых сосенок на болоте что-то затемнело, мало-помалу вырастая в фигуру стройного зверя. Я присел за сухую кочку...

Лось шел спокойно. Словно плыл — так легко нес грузное мускулистое тело. Там, где я тонул во мхах, он скользил, как по паркету, и тяжелые широкие копыта сухо пощелкивали. Темная сверкающая шерсть, горячие влажные глаза, горбоносая крупная голова с разъятыми трепещущими ноздрями, и эти белые сухие стройные ноги, этот венец рогов, — да, дик и прекрасен был лесной гигант!

В трясину лось вошел сходу, расплескав зеленую, покрывавшую ее пленку. Острые копыта вонзались, пробивали торф. Лось пополз на коленках, брезгливо и надменно оттопырив нижнюю губу.

Эге, и тебя топь поставила на колени! Мощным рывком лось выпростался из трясины. С секунду лежал неподвижно на боку, потом, ударяя длинными ногами, как веслами, полез к краю чаруса.

Он выбрел на сухое место, отряхнулся, по-лошадиному всхрапывая, — с шерсти полетели ошметья грязи.

— Вот кому чаруса не преграда! — Я залюбовался гордой осанкой лося. Я поставил рядом с ним щуплого Евстигнеича — с ружьем за плечами, с неизменным батожком в руке. В латаной стеганке, кирзовых сапогах. Сивая бороденка ветром задута на сторону...

Померк спесивый великан. Не тягаться ему с Евстигнеичем! Мало того, что Евстигнеич сам не увяз в проклятом чарусе, — он еще и лосенка от гибели спас! Старичок с батожком в руке...

КОВАРНАЯ ДУДОЧКА

МОХОМ подернуты валежины, серые стволы елок, с сучьями обросшими седым висячим лишайником. Сюда редко заглядывает солнце, и вечно холодная вода ручья, и держится здесь застойный запах древесной гнили, и сумрачно и дремотно.

Я сажусь на колодину и достаю пищики — дудочки для подманивания рябчиков. Один пищик — медный, старинный. С ним мой дед ходил на охоту, и я дудочку берегу, как семейную реликвию. Коварно тонок голос медного пищика: рябчики, как говорится, плачут, но летят на его призывный свист. Второй пищик тоном ниже, басовитее, им легко передать немудреную песенку рябчика. А третий — подарок знакомого охотника дяди Гани из деревни Янголохта. Этот пищик сделан из гусяного пера, неказистый, часто выходит из строя, зато очень верен по звуку, и я его пускаю в дело, когда на первых два манка рябчики почему-либо не откликаются. Уж на Ганин пищик они летят без оглядки!

Леса Севера испокон веков изобилуют дичью. Бывало, по лесным деревням рябчиков заготавливали тысячами. Промышляли большей частью ловушками. Из поколения в поколение передавались по наследству пути — проложенные в тайге охотничьи тропы. Существовал хитрый способ уберечь заготовленных рябчиков от потравы мышами: убивал охотник горностая и вместе с дичью прятал в стоге сена. Один запах зверька, лютого мышинного врага, отпугивал грызунов! Охотник в начале зимы, по первопутку, вывозил к деревне и сено, и рябчиков, сдавал добычу перекупщикам. И отправлялись с Пинеги, Двины, Ваги, из Каргополя и Яренска обозы, в кулях из рогожи везли в Питер, в Москву к столам богачей дорогой деликатес — мороженных рябчиков...

Тонко-тонко запел мой пищик, как бы выговаривая:

— Пи-ить, пить... Пить-не-перепить!

Дескать, лети, дружок, к ручью. Напейся, на здоровье!

Рябчики, я знаю, охотно держатся близ воды. И напиться можно, и на берегу поклевать мелких камушков, которые в их зобу, подобно жерновам, перетирают пищу.

И нравится рябчикам слушать, как в сонной дреме ельника лепечет, воркует текучая вода...

А потому рябчики осенью «идут на манок», что настало время разбиваться им на пары. Да и общительны эти серенькие рябые птицы.

Ага! Вон рябчик отозвался. Чуть спустя: фр-р-р! На виду у меня рябчик нырнул неподалеку в густую елку. Это, скажу, задача — выследить его раньше, чем он меня увидит. Как никакая другая лесная птица, рябчик умеет затаиваться, маскироваться, чему немало способствует его серое оперение.

Изменил я позу, изготовляя ружье к выстрелу, как: фр-р-р! Вспорхнул рябчик, мгновенно скрылся за деревьями. Все-таки первым меня заметил!

Снова подала призывный свист коварная дудочка. Зорко смотрю, слушаю. Весь — ожидание.

А что там сереет в темной хвое? Близко! Живое, если шевелится... Ба, да я сову пищиком среди бела дня подманил! И сова-то редкостная. Самая маленькая, оттого и название у нее — воробьиный сычик. Ладошкой сычика накроешь. Диво дивное: неужели он за рябчиками охотится? Эх, он обманулся: летел к рябчику, попал на охотника! И все из-за коварной дудочки. Случалось мне ястребов подманивать, дважды за годы охоты — куниц, а сорок и соек — тех не перечсть.

Замахнулся я на сычика: убирайся, не вертись перед ружьем! Совы, они полезные. Вот ястреб так дешево не отделался: непременно ударил бы я по свирепому воздушному волку из обоих стволов, не пожалел бы заряда!

И опять свистит, зовет, манит моя дудочка. Ястреба были, куницы, сойки, сороки, теперь — сычик... Интересно, кто следующий?

Хорошо бы — просто рябчик!

СИНИЧЬИ КЛАДОВКИ

СОМКНУТЫМ строем, тесно стоят сосны с медными стволами, прямыми, как туго натянутые струны. Ударить бы по этим струнам — какой мощный аккорд потряс бы стылый воздух, какую музыку, дикую, величавую, исторгнули бы мохнатые недра старого бора! И была бы эта музыка печальна, тоска прозвучала бы в ней по ушедшему лету.

Серебряной уклеей просверкнул в струях переката узкий листок, упавший с ветки ивы.

Да нет, не играют, пуская по воде круги, быстрые уклеи. Давно залегли в глубокие ямы. И язи скопились по омутам, и лещи, и пескари. Затаились перед скорыми стужами...

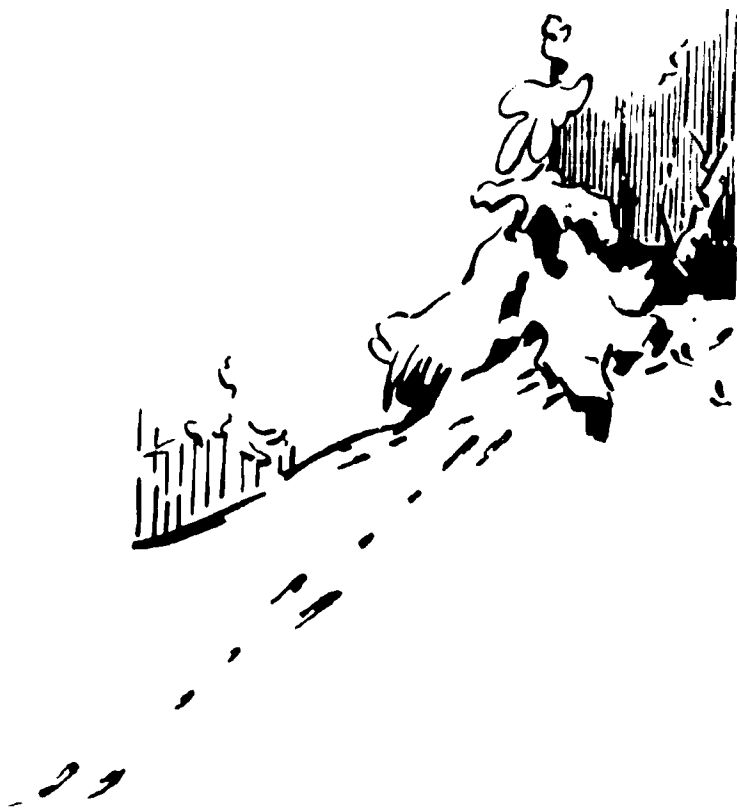
Холодно, слякотно в обнаженных лесах.

А вот кому поздняя осень не безвременье — синицам. Стайками перелетают по просекам, опушкам леса, на горях. Свист, щебет, веселый гомон... Беззаботные, так уж беззаботные! Ужели, думаешь, их зима не страшит?

Страшит, как же! Потому и заняты сейчас... заготовками. Они запасают корма на зиму. Бойкая, с воинственным хохолком на голове синица-гренадерка про запас прячет гусениц, коконы, яички бабочек. Запас, — он кармана не тянет. Зимой, в лютую стужу и бескормицу, гренадерка и крохотному яичку будет рада. Многие синицы подбирают с земли осыпавшиеся семена елей, сосен и носят в щели, под кору деревьев.

Осень, такое уж времечко: укуси пирожка, да и в запазушку!





БЛАУ

СТРОКИ



ГВОЗДИК

ЛЕС в дрёме совсем по-зимнему. Он не требует к себе внимания, а берет его целиком, взамен отдавая тебе свое настроение — светлой печали, студеного покоя.

Пустынны озера. Улетели лебеди далеко-далеко. И орланы, великаны птичьего мира, покинули скалы и сухостойные сосны, откуда подкарауливали добычу. Но остались с нами корольки.

Королек — малютка, весь-то со стрекозу, да хвойные ели ему дом родной. Не променяет он холодную суровую тайгу на влажную духоту тропиков, не прельстится плеском теплых южных морей.

Перепархивает по веткам королек, словно с этажа на этаж. Тербит висячий мох, отколупывает чешую с сучьев. Неугомонен. Неспроста зовут его в народе «гвоздиком». Подлинно гвоздик — для всякой щелки, куда бы ни спрятались мошки и паучки на зиму.

Ветер сдувает королька с вершин елей, засыпает снегом пурга, мороз пробирает насквозь. Не сдастся — несет вахту в лесу, как верный его страж.

ШЕПОТ СНЕГОВ

ПАДАЕТ снег на бурые заросли таволги, зеленые кусты можжевельника. Шуршит, будто шепчет о чем-то, сталкиваясь в замедленном полете с ветвями деревьев. Может, снежинки здороваются? Шорох в лесу.

Шорох снежинок. Сливается он в несмолкаемый шёпот — тихий, шелестящий и немного грустный. Каждое дерево по-своему здороваётся со снегом. Кутаясь в густую хвою, ели надменно протягивают навстречу снежинкам кончики тяжёлых мохнатых лап. Кончики по три растопыренных зелёных пальца. Дают понять елки: нам и без тебя, снег, будет зимой хорошо. Вон у нас какие шубы! Рассеянно, в глубокой задумчивости сосны принимают на себя снег, и он оседает меж дымчатых игл. Рябина, с которой дрозды осенью не склевали всех ягод, показывает багряную гроздь: засыпли, снежок, поскорей, только одна осталась!

Березы опустили гибкие ветки вдоль ствола, и сухой колкий снег летит мимо, едва их касаясь, копится лишь в развилках сучьев. А молодая елочка, та подставляет сразу все лапки. Будто ей внове снежок. Сдается, она разглядывает иглистые шестилучевые его кристаллики. Разглядывает, бережно держа в зелёных ладошках...

Шёпот в лесу. Шёпот снега. О чем хотят поведать миру белые снежинки? О многом — о зиме, холодах и метелях. О леденящем дыхании северных ветров. И о тайнах леса, и о сокровенной жизни дремучих трущоб, и о зверях и о птицах...

Просекой я вышел к лугам у реки. Стоял в лугах сарай. В нем я коротал летом ночи, выбираясь на выходной на рыбалку. Что за мягкая была там постель — из душистого лугового сена! И уж не проспишь, бывало: только забрезжит восток, запоеет горихвостка. У ней гнездо было в сарае. Так, песенкой она и провожала меня на утренний зоровой клев. После рыбалки я оставлял для нее червяков. А пользовалась ли горихвостка моим подношением, за это не ручаюсь...

Сено из сарая до сих пор не вывезено. Стрекотала на кровле сорока. Всполошилась! Да не трону же я тебя, белобокую!

Вдоль стен сарая — мышинные стежки. Поди-ка, со всего луга сбежались мыши, чтобы в сене перезимовать: тепло и корма много.

Вylетели из дверей две сойки. Подстать сороке, они в сарае зимние постояльцы. Перед холодами из лесов сюда перебрались. В морозы сойки прячутся от стужи

в солому да сено, оттого их полно встречается теперь по гумнам да сараям.

Я думал, кроме мышей, сороки и соек нет в сарае жильцов. И вдруг, как мне показалось, из-под самых моих ног выскочил черный зверек и припустил к кустам крупными прыжками. Он выскочил из щели между иструхшими бревнами. Он был весь черный, только губы да подбородок белые — будто он в снег мордочкой лазал. Сначала я подумал даже, что это кошка. Зверек был с кошку величиной, а разглядеть его понастоящему не успел. Следы разъяснили: кошка-то кошка, да дикая! Это так «дикой кошкой» зовут кое-где хорька. За истребление мышей. Хорь ценный зверек: и тем, что мышей, вредных грызунов, уничтожает, и своим мехом. Но... Слабость питает к курочкам! И сколько ж наветов терпит: пропала курочка, первого хорька тянут на расправу. Где лиса в курятнике «попировала», где норка, — везде хорек виноват. По-моему, лучше в полу курятника щели забить, окна, двери держать на запоре, чем без нужды преследовать хорьков. Ведь враг наших врагов — друг нам. А что хорек — враг мышей, нет в том сомнений.

Месяцем позже я снова проходил мимо сарая. И по белым строкам — по следам у сарая — легко прочитал, что хорек здесь по-прежнему промышляет. Следов же мышей заметно поубавилось. Хорек — «дикая кошка» — знал свое дело!

СИНИМ СЛЕДОМ...

КАКОГО цвета снег? Праздный вопрос: конечно, белого! Однако матовым, без теней, однообразно белым снег видится разве что в пасмурную хмарь, при низком, сером небе, когда все тускло кругом, плоско и уныло...

Солнечный же погожий денек и снегу приносит преобразование. Он золотится искорками инея, льдистыми гранями снежинок, из которых каждая тонко-тонко оттенена лиловой тушью. В гуще ельника снег прозрачно зелен, а в сосняке медные стволы деревьев

бросают на него красные блики и сочные густые тени. Ленивые, дремотные тени — как падут они у подножий, так, кажется, и не шелохнутся, спят, околдованные жгучей зимней тишиной, убаюканные светлым снежным покоем. И, высясь мощным несокрушимым строем над сыпучими сугробами, стерегут этот покой сосны, насупленные, седые от пышного куржака, как в панцире, в броне шероховатой чешуйчатой коры.

Бесконечно разнообразны цвета и оттенки снега, а потому и следы зверей, птиц на снегу рисуются то серо, расплывчато, то ярко и отчетливо.

Пока я ехал за город по Сокольскому шоссе на автобусе, пока шел полем к лесу, солнце тем временем высоко поднялось. И пришлось мне увидеть синие следы...

Первым попался на глаза наброд рябчика. Снег на поляне слежался. Пересекая ее пешком, рябчик ниткой протянул свои следки-крестики. На оплавленном оттепелю сугробе крестики потерялись. Одни проломы в скорлупе наледи, процарапанные коготками лапок, обозначили путь птицы к можжевельниковому кусту. Черные с просинью ягоды рябчик склевывал, подпрыгивая. Снег тут оказался рыхлее. Склюнув ягоду, рябчик падал на хвост. Не столько наследил серенький, сколько «нахвостил» у куста!

Потом я наткнулся на лисьи следы. Как тут не повторить, что лукава, изворотлива кума-патрикеевна! Чтобы своего следа возле просеки не оставить, лисица использовала заячий одиночный след — малик. Известно, заяц скачет, растопырив задние лапы, на бегу пропуская между ними передние короткие лапки. Охотники говорят, что след косого похож на букву «Т». Действительно, напоминает! А лиса печатает свои аккуратные следки строго, ровненькой цепочкой.

Пробежала лисица заячьим следом, тропы косого не измяла. В следах я разбираюсь, в лесу вырос, и то не сразу разглядел ее уловку. Свои лапки лисица ставила лишь в три ямки от заячьих лап. Четвертый отпечаток, отнесенный несколько вбок, был целый, нетронутый — с пухлым ином на подошве.

На том и попалась плутовка. Не провела!

Ближе к вечеру обнаружился след куницы. Вероятно, забеглой — за ночь куница может проделать

путь до тридцати километров. Ночь зимняя долгая, и голод подгоняет — ищи, рыскай!

Следы рассказали, что куница разорила зимовье ос. На клочки растрепала их гнездо, которое нашла в ельнике под трухлявым пнем.

Из гнилых гнилой был пенёк. И перепачкалась куница в красной трухе.

Почистилась, валяясь в снегу. Мало!

Тогда куница нырнула в сугроб, прошлась под ним... и начисто вычесала из шубки всю пыль и труху!

День меркнул, гася сияние снегов. Сугробы замглились, засинели, зато на следы моих лыж будто кто плеснул молока. И звериные тропки, птичьи крестики побелели...

ОДНА СТРОКА

ГУСТА хвойная завеса. Щелчки малейшие забиты снегом, припорошены инеем. Недоступна чаща постороннему взгляду, держится замкнуто. За хвойной завесой — сумрак, безмолвие, глубокие и таинственные снега...

Снега в росписи следов зверья и птиц. Эти следы — то единственное зримое, что дает право судить о потаенной зимней жизни. О приключениях и драмах, разыгрывающихся под пологом чащи, о трагедиях и смешных историях. Из следов, как из строчек, складывается Снежная Книга. Приди и читай! Да прочесть-то нелегко, вот в чем дело. Во-первых, длинные строки. Волк, к примеру, зимней порой, рыскающий в поисках добычи, исколесит за ночь десятки километров. Кочуют зимой и выдры, и куницы. Лоси тоже совершают большие переходы, — дня хватит ли, чтобы одолеть их тропу из конца в конец? Во-вторых, встречаются следопыту и замысловатые строки: то-то ломает он голову, пока разберется что к чему.

...Ночью ляпал заяц лапами, ляпал, тянул строчку следов сперва по ельнику, затем через болото к затерянной в глуши луговине. Да дальше, все дальше... Останавливался: сена из стога вытеребил и позубрил, иву зубом поскреб. Кормился.

Внезапно его тропка оборвалась. Прыжок! Ну, сиганул лопоухий. И новый прыжок в сторону. Метаясь на росчисти, как угорелый, скачками из стороны в сторону, удирал зайчишка-белячок к гуще спасительного ельника. Кого это косой испугался? По следам видно: даже с ног падал со страху. У опушки ельника снег примят, истоптан. Ветерком шевелит белый пух, алеют пятнышки крови. Отчаянная тут разразилась схватка!

Кого? С кем?

Чтобы заяц воевал... Смешно и представить! Трус он, косой, больше ничего. Ишь, сломя голову помчался отсюда наутек. Следы, они не обманывают. Все ж, кто его напугал? Хоть это бы узнать.

Бывает, самая незначительная мелочь дает ключ к тайне. То, что темнело невдалеке среди сугробов, оказалось не мелочью. Раскинув тупые рыже-пестрые крылья, уткнувшись ушастой головой в снег, валялся мертвый филин. С застекленелыми желтыми глазами, огромными и плоскими, с мохнатыми, судорожно скрюченными лапами. Мертвый и то пугало дикое! Живот у филина-пугала распорот... И вокруг ни следа!

Что такое? Тайна, вместо того чтобы проясниться, запуталась окончательно. Тупик... Полный тупик!

Филин нападает на зайцев. Ловит их ночами без особого труда. И нашего белячишку преследовал филин, да косому на этот раз удалось целой унести свою шкуру. Кто же, спрашивается, нанес этому филину рану? Живот, как бритвой, располосован.

Тупик? Да, если, конечно, считать, что заяц косой. Что он трус беззащитный. А заяц видит отлично. И при нужде шкуру защищает отчаянно.

Так это было. Бежал себе заяц потихоньку, ляпал лапами по снегу. Вдруг заметил над собой смутную летучую тень.. Прыжок! Промахнулся филин и снова пал сверху на зайца, выставив крючья когтей. У зайца — новый прыжок в сторону. Видя беду неминуемую, заяц упал на снег, чтобы встретить врага ударами задних лап, и филин взмыл над ним. Так повторялось несколько раз, пока филин не прижал утомленного зайца к лесу.

Лопоухий отбрыкивался как мог. Удар задних лап его, между прочим, силен и точен. Филину бы увер-

нуться, да не успела грузная птица. И заяц, из последних сил отбиваясь, полоснул когтем задней лапы по хищнику. Смертельно раненый филин, отлетев немного, ткнулся в снег...

...Прочитана строчка. Всего одна. А сколько их в лесу появляется каждую ночь — все новых и новых!

ПОД ЗЕЛЕННОЙ КРЫШЕЙ

СНЕГ не падает. Он словно плывет по воздуху. Обрели снежинки паруса. Поблескивая в лиловой мгле ельника, пристают, как к пристани, к серым, обросшим стволам, кривым сучьям, покружив, плавно опускаются на сугробы. Нескончаемо это движение, мельканье белых парусов в темной заиндевелой зелени...

Покачиваются на ветру островерхие ели, и одна хвойная лапа с непривычной для нее нежностью баюкает птичье гнездо. Птенцы густо опушены, как в серых свитерах. Дремлют в зеленых потемках лесного затишья.

Гнездо зимой, да жилое... Возможно ли? Ничего особенного: раз оно клестов, известных наших зимогоров!

Шишек нынче обилие. Гнездо прочное — с двойными стенками, утеплено мхом, лишайниками, пухом, навес хвои над ним будто зеленая крыша. Так почему б и не обзавестись клесту семейством? На любой елке ему теперь готов и стол и дом. Житье — хоть песни пой. И поет клест, добрую щедрую зиму нахваливает. Великолепен певун в ослепительно красном своем наряде. Клестиха собой тоже ничего себе: изжелта-зеленая, хвостик вилочкой. Правда, бывает — поиспачкаются зимогоры в смоле. Ну, что ж, работа такая, раз день-деньской имеешь дело с шишками. Добывать семена из шишек клест большой искусник. Оттого и клюв у него мощный. Концы клюва сложены крест-накрест. Щипцы, право, а не клюв! Таким и сокрушать шишки, потрошить кладовые семян. Надорвав плотную, запечатанную смолой чешую, за которой скрыто

жирное семечко, клест просовывает сложенный клюв в щель. Напрягшись, раскрывает клюв и, как рычагом, с хрустом и треском отдирает им чешуйку. Щелк — и готово, семечко само лезет на язык! На кормежке клестов чешую, сбитые шишки сеет сверху словно из решета. Управляются клесты с шишками споро, бойко, орудуют на елке целым обществом, да с песнями, с веселой переключкой. Любо посмотреть!

Попадется клесту под клюв мошка, спрятавшийся в хвое на зиму паучок или жук — не съест, с радостным кличем: «Нашел! Нашел!» — унесет в гнездо. Птенцам в гостинец! Клест и клестиху кормит, пока она сидит, греет потомство, не отлучаясь с гнезда ни на минутку, и песни ей поет, развлекает. Клестиха маленьким дает... кашки. Из еловых семян, распаренных в собственном zobу!

...Звенит ельник переключкой клестов:

— Кле-кле-е... цок-цок!

— Ци-ик... кле-кле!

Вот клест висит на шишке вниз головой. Вцепился клювом, перебирает крылышками в нетерпении, свесил лапки. Оторвать охота шишку — и силенок мало. Наконец, совладал. Да и повалился вместе с шишкой вниз. Тяжела шишка не в меру, одолела клеста! Осталось: или падать с ней головой в сугроб, или бросить. Бросил! Залился негодующей трелью и вспорхнул за другой, полегче, — благо, елка шишками вся так и увешена.

Снег реже и реже плывет в воздухе. Снежинки складывают паруса. Прояснило небо, задышало стужей. Посинели сугробы. Окутывала ночь примолкший ельник тенью, непроглядной теменью. Прорезалась первая звезда...

Вылетел на ночной промысел ушастый филин. Покружился винтом вокруг мохнатой огромной ели. Давно попрятались в хвое клесты, никого не нащупали огромные глаза филина, ни звука не уловили чуткие уши. Диким, леденящим кровь криком разразился филин, защелкал крючковатым клювом: «Уху-ху-у!» Ну-ка, у кого нервы не выдержат, кто встрепенется, шорохом себя выдаст? Нет, настороженное молчание хранила ель. Пусты, видимо, ее хвойные этажи, — филин, не тратя времени, убрался восвояси.

Немного спустя послышалось по стволу поскребывание хищных коготков. Куница змеей юлила с сука на сук, вынюхивала, и голодным злым огоньком вспыхивали ее круглые глазки в лучах звезд. Сорвался один клест, нырнул в потемки, за ним второй, третий...

Ускользает добыча! И что за диво: по-прежнему в нос зверька бьют только запахи леса. Что и за птички, что лишь смолой да хвоей пахнут? Чутко вслушиваясь, готовая к прыжку на малейший шорох, куница обследовала дерево. Достигла гнезда, осталось лапу протянуть и... Не сдобровать тогда ни клестихе, ни ее беспомощным птенцам, попадут кунице на зубы!

Улетай, нырни в гущу хвои — спасешься! Но клестиха не тронулась с места, распласталась на гнезде, чтобы казаться менее заметной. Ей сейчас покинуть гнездо — птенцам погибнуть. Замерзнут они в стужу.

Совсем рядом учащенное дыхание куницы, поскребывание ее когтистых лапок. Не дрогнула клестиха. И не заметив гнезда под хвойной крышей, в частом сплетении сучьев и хвои, зверек прошмыгнул мимо. Затем он прыгнул на соседнюю елку. Затих в безмолвии ночи легкий шорох когтей.

Миновала тревога. А ночь долга, и каждый час ее может таить в себе опасность.

Но едва утром посветлело в лесу, захлопотали опять клесты как ни в чем не бывало! Бодрые, веселые их голоса прогнали тишину из ельника.

Хвойная лапа, покачиваясь под дыханием проснувшегося ветерка, баюкала на широкой ладони птичье гнездо...

НАДИНА ЕЛКА

ЛЫЖИ у Егорки широкие, он и вызвался прокладывать путь. Сопел и покряхтывал, преодолевая сугробы. Полушубок его был так туго стянут ремнем, что полы загибались, открывая синие штаны, свисавшие сзади мешочком.

Стасик постоянно отставал, крутил головой на тонкой шее, уши его шапки болтались, как у щенка.

— Гляньте, гляньте, — то и дело кричал он. — Следищи-то... Ну и лапы, ну и лапы!

— Не лапы вовсе, — хриловатым баском солидно выговаривал ему Егорка. — Это ж лось пробрел. У него не лапы, у него копыты.

Худенькая, большеглазая Маня смеялась всему без удержу — и тому, как болтались уши у Стасиковой шапки, и тому, что у нее на бровках выступал холодный колючий иней. Ей весело было и все тут.

Цепочку маленьких лыжников замыкала Надя — в нарядном лыжном костюмчике, белых варежках и пуховом мамином платке, концы которого были завязаны у ней за спиной. На лыжах она чувствовала себя нетвердо. Сделав два-три робких шажка, закусывала пугливо губу и поскорее опиралась на палки.

Новый год на носу! Компания отправилась за елками.

Решено: праздновать так праздновать! Ходить на елки по очереди друг к другу. Да елка в школе, да елка в клубе... Веселые ждут каникулы!

— Мама стюдию наварила. На холод выставлен, — вдруг ни с того ни с сего заявил Стасик. — Две площадки... во! Из свиных ножек студень. Ой, ой, смотрите — сорока летит!

Егорка скосил глаза на Надю и покачал головой:

— Сам ведь сорока. «Стю-ю-день!» Самого бы выставить на мороз в плошке.

Маня рассмеялась, и Надя тоже улыбнулась.

Стасик обогнал Егорку и, подкатившись к обрыву над рекой, взмахнул лыжными палками:

— Гора-то-о... Эльбрус! Казбек! Терек! Давайте скатимся по разику. Надя, а правда, что в Москве на катках милиционеры на коньках катаются, чтобы за порядком следить? На коньках, а? Нашего бы Трофимыча на коньки! В галифе-то бы... а? Он кататься не умеет, он бы и шапку-то потерял!

Надя вполголоса заметила:

— Между прочим, Терек — это река. И не студень, а студень. Помолчала и добавила:

— И не копыты, а копыта.

Егорка только кашлянул. Перед Надей он, мальчишка боевой и с авторитетом, попросту терялся. Надя — развитая девочка. И в Москве, и на Кавказе, да-

же в Сибири и то успела побывать. И опять куда-то они, Несговоровы, собираются. Не прижились в поселке. Не нравится. После Сибири-то здесь что — один только лес!

«У меня бы такой был папа, как у Нади! — вздохнул Егорка. — Поездили бы законно. А то ведь ровно привязанные к лесопункту!» Но Стасику он сказал:

— Терек... между прочим... Учись! — И гикнув, первым полетел на лыжах с обрыва.

Скатились не раз и не два. Сперва просто так. Да Стасик — разиня, успел потерять свой топор. И долго искали его в снегу.

Солнце той порой склонилось к лесу. Красный шар его словно бы накололся на острые вершины елей. Накололся и застрял. Лиловые тени легли от обрыва до середины реки. Изломы сугробов начали алеть. А небо стало голубым и высоким. И веяло от него, от снегов и заиндевелого леса стойкой стужей.

Стасик предложил — благо, топор нашелся! — прорубить во льду лунку. Ведь у налимов сейчас ход и что стоит какому-нибудь налимчику мимо лунки проплыть. Цап его за хвост — и в пирог! Налим в пироге... у, сила! Трофимыч вон каждый вечер налимов с реки носит! Егорка смерил размечтавшегося приятеля взглядом с ног до головы и, ни слова не говоря, отобрал от него топор.

Маня над ними смеялась — чуть не упала.

До намеченной цели — низкорослого ельничка — компания добралась без приключений.

Местечко тут знакомое! Сюда бегали по грибы летом, тут брали чернику... Вон и елка, у которой оставляли свои кузова. Стоит она в сугробе, развесила хвойные лапы, будто слушает что-то. Кристаллы инея посверкивают на дымчатых иглах, на крепких шишках. В морщинах коры снег, снег в развилках сучьев. Цепенеет елка от стужи, не шелохнется.

В сугробе, среди снегов, она показалась ребятам ниже ростом. Не то что летом! Летом под ней однажды укрывались от грозы. Так тесно прижались друг к дружке, на всех места хватило. А как дождь хлестал! Как молнии, хвостатые, огненные, полосовали бурую, лохматую тучу! Вроде плетью секли по туче молнии, и гром походил на свирепый рев. Туче было, наверное,

больно, и она рычала, огрызалась, уползая под ударами молний за леса, за поля...

Все до ниточки промокли! Одежду — хоть выжми. А уж пахло из лесу после грозы — грибами, боровым мхом и земляникой. Прополосканный дождем воздух был свеж и чист. По ямкам и низинам голубели лужи.

Восхитительно пробежать по теплым лужам босиком!

— Я под нашей елкой ежика поймал, — сказал Стасик. — Уж он фукал, фукал, колючки-то выставлял...

— Я под елкой белый гриб нашла, — сказала Маша. — Крепкий-крепкий гриб и нисколько не червивый. Пока гроза шла, он и вырос.

Надя всматривалась в елки, искала, какая получше. Круглое, разбурванное морозом лицо ее приняло деловитое и озабоченное выражение.

— У меня, знаете, сколько елочных украшений? И шары, и бусы, и канитель — все, все есть! — Надя оживилась, ее глаза блестели. — Вот увидите, моя елка будет всех красивей! А Снегурка у меня... Хорошенькая-прехорошенькая! С кокошником, в настоящей шубке и бусы настоящие. Прелесть что за бусы. У Деда Мороза борода шелковая, а нос красный-красный. А матрешки, а паяцы...

— Чего-чего! — переспросил Егорка.

— Ну паяцы... Ты все равно не знаешь! — отмахнулась Надя. — Где вам! Дальше поселка нигде не бывали.

— Я в городе бывал, — пробормотал Егорка, задевший за живое. — На автобусе может тыщу раз катался и мороженое ел... Сто порций!

— Фи! — сказала Надя. — Я на «ТУ» летала, если хочешь знать. Стюардесса мне бесплатно конфет давала, если хочешь знать.

— Стюардесса, — пробормотал Егорка. Крыть ему было нечем: «ТУ» — это не какой-нибудь автобус.

Стасик нашел елку. Когда срубил ее, Надя плечиками пожала:

— Фи, кривая!

Вправду, елочка была крива. Вернее, сучья были гуще на одну сторону.

— Ничего, сойдет! — сказал Стасик. Он был парень покладистый. — Кривая, не кривая... какая разница? Все равно осыплется.

У Мани елочка оказалась похожая на нее — такая же тоненькая, стройная. И с шишкой на самой маковке.

— А у меня с шишкой, а у меня с шишкой! — радовалась Маня.

— Фи! — сказала Надя. — У меня шишки, знаешь... зеркальные, вот!

И Егорка срубил себе елку.

— А ты что? Не выбрала? — спросил он Надю.

— Моя — вот! — И Надя показала на ту самую, всем приметную елку. Ребята разом примолкли.

— Тю-ю! — протянул Стасик.

У Мани бровки стали как два вопросительных знака, она переводила взгляд с Нади на Егорку и помаргивала.

— Нельзя... — наконец, запинаясь, произнесла она. — Эта — наша! Да я под ней гриб нашла. Ты не знаешь, ты... ты чужая!

— Я ежика поймал! — вскричал Стасик. — Вот тут!

— Наша, наша... — рассердилась Надя и покраснела. — Не купили вы ее... вот!

Она подняла валявшийся в снегу топор. «Тюк! тюк! — застучал он отрывисто. На снег упали смолистые желтые щепки.

— погоди! — спохватился Егорка. — Она ж велика тебе! Давай, я найду другую.

— Не хочу другую! Я для себя вершину срублю... вот! И слушать вас не хочу. Подумаешь, их елка! Не купили, и не ваша.

Топор тюкал, все тюкал, сеял на снег желтые щепки.

— А вчера ее папа, Несговоров-то, целый грузовик елок в город увез, — шепнула Маня. — Шофер, так и можно ему, да? Да?

— Я видел: елочки — первый сорт, — сказал Стасик. — Вроде нашей: на базаре по рублю за штуку дают.

Наморщив лоб и понурясь, думал Егорка о чем-то. А топор тюкал и тюкал, сыпались на снег щепки.

Надя заждалась гостей. С обеда выбегала в сени — чудилось, пришли, стучат! Ей не терпелось показать свою елку. Другой такой в целом поселке нет — Надя была уверена. Убрана елка бусами, сверкающими шарами, вся в блестках и золотой и серебряной канители. Залюбуешься! Чудо, что за елочка. Дышит на всю комнату смолистым ароматом, потолок подперла гибкой, увенчанной блестящим шпилем макушкой. Так и зовет и манит: идите ко мне, поиграйте, покружитесь в веселом хороводе!

Развесила елка сучья, как уши, и слушает: вот-вот нагрянут к ней гости... А никого нет!

Засмеркалось, окна посинели. Нет! Вечер прошел... Все никого нет!

Бессмысленно улыбается под нарядной елкой Снегурочка, седой Дед Мороз супит пушистые брови. И даже бесшабашные паяцы, кувыркающиеся на зеленых хвойных ветках, присмирели, как бы погрустнели.

— Почему никто не пришел? — глотала Надя слезы обиды. — Ведь лучше моей елки все равно нет! Я-то старалась, ее наряжала... Почему не пришли? Почему?

ВСТРЕЧА НА ЛЫЖНЕ

МОЖЕТ статься, это невероятно, но когда я увидел ее, до меня не сразу дошло: в чем кидавшаяся в глаза несообразность, необычность этой лыжни? Хорошо накатанной лыжни, прямой, точно просека. Синеватой чертой она перерезала обширное болото, где одинокие сосенки рисовали на снегу длинные тени, где изломы сугробов наливались прозрачной желтизной, отражая свет скупой, начавшей разгораться вечерней студеной зари. Колея была в одну нить, то есть тот, кто постоянно лыжней пользовался, ходил... на одной лыже! И ходил довольно сноровисто, хотя то и дело останавливался передохнуть, опираясь на палки, которые, несмотря на плотность снега и широкие кольца, очень глубоко увязали.

Я решил догнать лыжника. По лыжне видно: прошел он только что. До деревни далеко, авось успею настичь его еще в лесу.

Я успел. Я увидел лыжника, входившим в согру — низменный ольшаник с редкими елями на окраине болота. Нас разделяло не более полукилометра.

Должно быть, он тоже меня заметил. Я нашел его отдыхающим на срубленной из жердин скамье возле зимника — дороги, по которой доставлялось сено с дальних покосов. Потрескивал костерик. В котелке, подвешенном над огнем, пузырясь, таял ком снега.

Да, лыжник был одноног...

Он сидел на скамье, положив рядом костыли, оснащенные лыжными кольцами, и в широкой сутуловатой спине, узловатых руках, лежащих на коленях, и в том, как он замедленно повернул мне навстречу голову, чувствовалось, как он неимоверно устал. Ворот подпоясанной ремнем фуфайки расстегнут, шапка, вывернутая наизнанку, насквозь пропотевшая, висит перед огнем на кустике, и от нее курится пар.

— Здорово! — кивнул он, вытирая с висков и шеи капли пота. — Табаком не богат? Одолжи, будь добр, да присаживайся, присаживайся да-ко! Где дым, там и дом — верно я говорю? Покурим, чайку попьем — пусть нам весело живется!

Лицо широкое, скуластое, с шелушащейся, продубленной ветрами и морозом кожей, смуглое от зимнего загара. Глаза под мокрыми от пота светлыми бровями пронзительно голубые, зрачки — по дробинке, острые, даже колючие. Фуфайка — заплатка на заплате, из разодранных стеганых штанов клочьями вылезает вата. Но подпоясан туго, нож с наборной ручкой в шегольских, украшенных бахромой кожаных ножнах, и ружье, прислоненное к елке — хоть и одноствольное, легкое, однако из дорогих, с гравировкой.

— Про Северьяна, поди, слышал? Ну-у! — пытливо и изучающе косил он прищуренными глазами и сыпал громкой, с внезапными паузами и придыханиями скороговоркой, нисколько не заботясь, слушаю ли я его, стал по-молодому быстр в движениях, жестах и вообще заметно прибодрился. — Что не здешний ты, не резон..., не резон, парняша! Должен про меня слышать! Летчик Маресьев прославился — безногий,

вишь, да самолетом не попустился. Комбайнер Нектов — тож инвалид, обоих ног лишенный... А я — охотник. Что? Какова компания? Каждому пожелаешь! Под Ельней меня приголубило. Рана, контузия. Не-е, не унывал, моды такой нет. Из госпиталя на костылях выпустили — маши, ровно крыльями. Я — ничего, машу. Летаю! Кабы не поноска, в век бы ты меня не догнал. На своих-то на двоих! Поноска у меня бедой тяжела, крыльца выворотило...

Повел широкими плечами — вот-де, какие у меня «крыльца», и то мешком выворотило. И все же его шумная похвальба отдавала затаенной горечью. У меня щемило сердце, я не знал, куда деть глаза, чтобы не видеть безобразной культи — обрубка ампутированной по колено ноги, этой штанины, заправленной под ремень и аккуратно обвязанной тесемкой, этих пропотевших подмышек фуфайки, до блеска натертых костылями.

Ком снега растаял, вода начала закипать. В разрывы туч опять выглянул краешек солнца. В глубине согры, заваленной снегом, припорошенной инеем, словно вспыхнул нерукотворный костер, и вершины елей зазолотились.

— У нас в роду мужики поголовно были охотниками. Никто своей смертью и не умирал... да-а! Чтобы в постели, да с охами и слезами домашних... ни-ни! Деда деревом придавило: в лесу ночевал, да буря возьми и пади. Елкой его придавило, сонного. Елки-то на корню шаткие! Папаню зверь заломал, на берлоге. Полесовщики были-и... Что зверя, что птицы на своем веку взяли! Порода в нас лесная: меня вот прикуй к избе, и то не удержишь. Воля в лесу, покой мне дорогой. Иной раз не спится, выйду к озеру. Лягу под березкой, лежу, гляжу, что делается. Птюшки проснутся, то-то звонко голосками вызванивают. А другая сядет на ветку, хвостик задерет — и кап в воду! И-их, что мальков-то сбежится, думая, какая им пожива сверху пала. Тычутся, толкаются, плавники-то расщеперив. И весело мне... да-а! И птюшки эти, и вода, и туман, и травинка любая — все в радость!

Костылем Северьян пошевелил в костре, сгруживая уголья под дно котелка, и продолжал тише, углубленной в себя:

— Только почто мне, парняша, ночами мнится, что отрезанная нога болит? Спасу нет, ровно огнем ее палит. Кажись, пошевелинуть пальчиками, боль бы и поутихла, да... нет пальчиков-то!

Бросив в снег окурок, притоптал его латаным ва-ленком, вздохнул и вытер тыльной стороной ладони губы. Коротко глянув на меня, добродушно засмеялся:

— Э, нос повесил... э! Полно-ка, да-ко... Я, парняша, везучий, легкая судьба! Мне завидовать надо... да-а! Вернулся с костылями-то — бабы в деревне ну слезы лить. Загуньте, кричу на них! И верно — так зажил, каждому пожелаешь. Лапти даже плел. В лес-промхозе за пару лаптей в те поры по четыреста грам-мов хлеба отваливали. Шутка ли? Лык надеру, осенью лыко крепкое, ноское. Всю зиму, бывало, ору-дую коточигом. Получай сапоги в сорок четыре кле-точки! И тому люди рады были, потому как трудности переживали. Да лесовать стал, лыжи вот освоил. Кап-каны, силья, плашки не валялись без дела, пустил в ход. Как облетаю свои поставушки, так и сношей. На меня, парняша, и птица и зверь идут. Помногу зай-чишек да тетеревей собирал. Этим уделишь мяска, тем — полон короб мне спасибо народ наскажет. А мне и любо! Что худое было... да ведь былшем поросло, что о том вспоминать? Не люблю, и кончено дело. Де-тей поднял на ноги, в люди вывел. Сын шофером ро-бит, средняя дочь замужем — осенесь выдал. Младшая пока при нас, дому придерживается. Да аттестат у ней, десятилетку кончила — в институт собирается. И пу-скай — вольному воля!

Он помолчал и добавил, как бы в сторону, нехотя:

— Нога... Что — нога? Душой не хромай, так хоть на коленках ползай — все жив человек.

Солнце закатилось. Снега побелели. Казалось, те-перь они сами излучают свет — мягкий и покойный. Небо словно поднялось выше, из смутно серого, заво-лоченного седой изморозной хмарью, стало золотисто синим, прозрачным. Редкие осанистые ели каждой хвоинкой впитывали вечернюю тень, темнели, готовясь к ночи. Крепкий, щекочущий ноздри запах мороза и чадающего костра, матовый белейший снег, рассеянный мягкий свет — все это сливалось во что-то одно, це-лостное, непередаваемое словами, глубоко западавшее

в душу. И тишина... Наверно, это тишина звенела в ушах?

Вода в котелке монотонно, усыпляюще бурлила. Рассыпаясь в прах, дотлевали уголья.

Северьян костылем снял с рогульки котелок, из-за пазухи вынул узелок с чаем и сахаром.

— Э, провал какой! — зачмокал он губами, качнув головой. — Ведь кружки-то нет. Второпях забыл в избушке... Провал какой! А мы через край... а? Из котелка... а? Дородно, парняша, сойдет и через край. Чайку не пить, так откуда и силы? Давай, да-ко, пей... пей! Чаек да в лесу, да с костра — это ровно живая вода. Верно я говорю? Да сахару... сахару-то кусай! Экий ты церемонный! — гремел Северьян на меня. — Экий!

Подхватив костыли, вдруг он бросился к своему рюкзаку, поставленному возле дороги прямо в сугроб и для чего-то засыпанному снегом. Раз или два мне среди разговора почудилось, что рюкзак вроде бы шевелится. Очевидно, действительно почудилось.

Северьян наклонился над мешком, заслонил его.

— Ч-ш-ш... Я те-е! — донеслось его бормотанье. — Поегозись у меня, поегозись... я те-е!

— Что там у тебя? — спросил я.

Северьян обернулся. Прокаленное морозом, широкое лицо его со слипшимися на лбу редкими волосами, небритое и морщинистое, залучилось. Он коротко хохотнул:

— Не говори, парняша! Пей-ка лучше чай!

Я отхлебнул из котелка обжигающей рот влаги, изрядно припахивавшей чадом. Впрямь живая вода! Пьешь ее и напиться невозможно.

— Ну, показывай, — сказал я, ставя обратно котелок на уголья.

— Гляди, гляди... — лучился Северьян, вися на костылях, помаргивая и не трогаясь с места.

Я откинул клапан рюкзака и невольно отшатнулся — с такой едкой ненавистью полоснули по мне налитые огнем, желтые, с косыми зрачками звериные глаза. Черт возьми! В рюкзаке Северьяна сидела рысь. Живая!.. Нет, ни малейшего сомнения, — живая! Наморщила тупой нос злобно, в зрачках — лютости, лютости-то! Да, лютости и жалкой беспомощности... В зу-

бы ей вставлена палка, короткая и толстая, пасть опутана сыромятным ремнем, похоже, не весьма прочным.

— Чёрт возьми... — произнес я. — Живая!

— А то нет? — хохотнул Северьян, подмигивая. — Каково? Говорено, что удачливый я... а? То-то, парняша! В шутовый капканишко-то залезла — на зайца был ставлен. Чуть и прищемило лапу, а сидит, понимаешь, и — ни гу-гу! Хрястнуть ей тем капканом по лесине, как прах бы разлетелся, да зверь ведь, разума не дано... сидит! Шею втянула, уши на спину заложила и ну клыки скалить. Думаю: кого ты страшашь? Да я, милушка, смерть в глаза видал и не забоялся. Что мне ты! Аж жалко мне ее стало. Глупая, молодяшка, ишшо и бородой не обросла. У рысей борода по щекам растет, видал? Ну, и собой, гляжу, славная — серая, в рыженьких таких пятнушках, брюхо белее и с подпалинкой. Снял с плеча ружье. И мешкаю... Рука не поднимается, осеклось что-то во мне. В глаза смейся — осеклось, и все тут! Живьем, думаю, возьму.

— Да она ж тебя могла искалечить! — в сердцах воскликнул я. — Рысь ведь, чёрт побери!

— Зверь, я понимаю... — как-то потускнел Северьян. Сгорбил спину, перебирая костылями. — Зверь... Да я не зверь, чтобы ни за что ни про что ее пристукнуть. Леший-то с тобой, смейся, дурнем назови!

Я смешался, полез в карман за папиросами.

— Ладно, ладно, Северьян... Я к тому сказал, что опасно же голыми, почитай, руками такого зверя брать!

Он провел ладонью по лицу, помаргивая, возразил:

— Если по-честному, так где не опасно? Если по-честному? Да и не голыми руками рысишку брал. Заколела, ночь в мороз такой в капкане просидела, билась... Кому свобода не дорога? Вырезал я рогатину — нож всегда при себе. Ну, вырезал, подхожу, а она трясется... Не хорошо! Рогатиной ей шею защемил, прижал к снегу. Побарахтались, конечно, куфайку, штанину мне разодрала, ваты сколь выпустила из одежды... достанется мне от жинки! Вот и спеленал рысишку, все-то делов! Сопротивлялась, умишка-то нет — где ей в толк взять, что ради нее с ней же и пластался.

Наклонясь над рюкзаком, он бережно закрыл клапан мешка, шепнул:

— Цить у меня! Попадешь в зоопарк на даровые харчи, там и уркай!

Он стал поднимать рюкзак на плечи, закусив губу от напряжения и пошатываясь.

Я хотел было ему помочь, но он отвел руки, буркнув:

— Сам... сам! Не мешай!

Он обиделся. Он хотел «сам», отвергая от себя право на слабость.

— Котелок сзади привяжи! — побряхтывая, Северьян встряхивал мешком, удобнее угнезживая его на плечах. Лыжину свою он, вероятно, где-то припрятал.

— А чай? — спросил я. — Как же так?

— Выплесни, дома напьюсь. Тебе куда сейчас, парняша?

Я назвал деревню.

— Коли так, мы не попутчики, — сказал Северьян. — Тебе назад возвращаться. Да поторопись, нето отемнаешь в лесу, путь-то тебе не близкий. Заговорил я тебя, извиняй, в общем. Все в лесу, один, поговорить было не с кем...

Он протянул мне руку, я крепко ее пожал.

— Большое у тебя сердце, Северьян.

— Чего? Чего? — переспросил он, сведя брови.

Я не ответил, пошел к своим лыжам.

Скоро я уже бежал болотом, рядом с лыжней Северьяна, человека счастливого. На небе прорезалась луна — тонкая и прозрачная, как льдинка. Не потому ли так удаленно держится она, чтобы не задела ее, не потревожили ее нежной хрупкости? Луна наливалась желтым мерцающим светом, и снега, отвечая ей благодарно, сияли ярче, и у сугробов опять появились тени. Как в ожидании чуда, все словно затаилось, замерло — ни шороха, ни звука, только пел под лыжами снег. Чудо должно было быть близко, возможно, и рядом. Возможно, и в этой коченеющей от стужи ветке, торчащей из сугроба, заключено чудо? В этих вот почках? Дайте срок, почки набухнут от живительных соков, развернутся листьями и одарят мир благоуханьем свежей зелени, ничего, ровнехонько ничего не требуя

взамен... И я приподнял палку, чтобы не задеть эту скрюченную морозом ветвь над снегом, холодным и пустым. И мне было почему-то и радостно, и одновременно тревожно, и я прибавлял ходу.

КРАСАВА

НЕ ЗАБУДУ лебедя, пойманного рыбаками для зоопарка. Лебедь на время был помещен в хлев. Он лежал на соломе, поджав лапы, голову держал низко и выглядел безобразным. Ведь красота лебедя не в блестящей белизне оперения, не в длинной шее, которую он изгибает дугой, не в гордой осанке или крыльях, поднятых, как косые паруса. Красота лебедя — в прозрачной воде, когда, зеркально отражаясь, плывет он по ней, величавый и недоступный; в зыбких зеленых камышах, если возле них купается он, плещется, и белые лилии похожи на оброненные им перья; в неоглядной голубой выси неба, где лебедь летит с трубным кличем...

Я к тому это говорю, что неволя птиц не красит, и не в моем характере держать их в неволе. Однако со мной вот что произошло.

Есть у меня приятель — Александр Петрович. Большой оригинал, он пешком исходил Север, среднюю полосу России, Кубань, Молдавию, Черноморское побережье Кавказа. Человек увлекающийся, он дома выращивает лимоны, держит австралийских попугайчиков и возится с собаками. Зайдешь, бывает, к Петровичу, а там — пальмы у расписанного морозом окна, в кадках с лимонными деревцами зеленеет овес для подкормки попугаев и здоровенный пес Трезор, из породы заполярных ездовых собак, скалит зубы под кроватью. Берегись, как бы тебе попугай на голову не сели и Трезор не порвал брюки! А Петрович за столом или сочиняет стихи о собственных походах, или вслух читает Сергея Есенина:

Золото холодное луны,
Запах олеандра и левкоя.
Хорошо бродить среди покоя
Голубой и ласковой страны...

Как-то я повстречал Александра Петровича на улице. В обычном виде — карманы пальто оттопыриваются, забиты томиками стихов, газетами. Он обрадовался, тискает мне руку, восторженно блестит очками и говорит:

— Хочешь, я тебе свиристеля подарю?

— Какого, — спрашиваю, — свиристеля?

— Конечно, живого! Соглашайся, мне некогда, на работу опаздываю.

В народе свиристеля знают, как «красаву». Точно, красавя. Свиристель, он такой, есть чем залюбоваться. Он розово-дымчат, серые крылья и хвост украшены яркими желтыми и красными роговыми пластинками, у него черная бархатная бородка под клювом и острый колпачок на голове!

Появилась у меня клетка. Поразмять крылья я выпускал свиристеля на кухню. Заманить его в клетку не составляло заботы. Положи в блюдце для питья ком свежего снега, свиристель сам в нее залетит. И воду он пил, но снегу отдавал явное предпочтение. Снегом он лакомился — в аккурат как ребятишки мороженым.

Летом свиристели питаются насекомыми, комарами, большей частью, а зимой — рябиной, шиповником, можжевельниковыми ягодами.

Рябина и шиповник входят в состав витаминного чая, который прописывают больным с лечебными целями.

А кому какое дело, для чего понадобилась мне сушеная рябина?

Только попал я в аптеку в смешное положение. Вот являюсь за рябиной. А аптекарша отозвала в сторону и шепчет участливо:

— Давно замечаю вас, молодой человек. Вам бы следовало к врачу обратиться. У вас не авитаминоз ли?

Я сконфузился, бормочу что-то. Аптекарша достала из-под прилавка бутылку рыбьего жира — с ним почему-то были перебои, его не хватало — и говорит:

— Не надо благодарностей, я исполняю свой долг!

Что тут было делать?

Одно оставалось — ходить за сушеной рябиной в другую аптеку...

Но вы представляете, какой аппетит был у моей красавы, если я каждый день бегал по аптекам за сушеной рябиной! Со стороны в самом деле можно было аптекарше вообразить, что я жутко болен и отпиваюсь витаминным чаем с утра до ночи.

Гостила у нас тетя. Старенькая, тугая на ухо. Все ждала писем от внучат. И начал старушке мерещиться, что ни час — звонок почтальона в прихожей.

Спешит тетя: «Сейчас, батюшка, не звони — слышу!» А отопрет она дверь на лестничную клетку — никого нет... Приляжет опять на диван вздремнуть, — снова звонки! И все никого за дверью нет. Чистое наваждение!

Потом мы тете объяснили, что звонок в прихожей она путает с пением свиристея. Так уж мелодично, трельками серебристыми он заливается, требуя обратить на него внимание....

По вечерам свиристель зевал, и если забывали затенить клетку, спал, пряча голову под крыло. Порой он вздрагивал, приподнимал головку и топорщил хохолок. Что ему снилось: могучие северные ельники, где снега и стужа, где луна льет свет на сверкающие инеем поляны; вкрадчивый шорох поступи таежного зверька и мечущиеся тени сов?..

Погиб свиристель нелепо. До сих пор этим мучаюсь.

Подумайте, что станет с какой-нибудь южной птичкой, если ее перенести в наш лес зимой? Замерзнет, конечно, в стужу. А свиристелю, наоборот, был нужен холод. Да, лютый зимний холод родных ему ельников, жгучее дыхание вьюги. Жил он в тепле, тепло и погубило его, моего пленника.

ТИШИНА

НОЧЬ. Зажглись звезды, выплыла желтая луна. Через болотистую низину бесшумно спланировала сова. Ее глаза в полосе лунного сияния блеснули, как очки. Если на то пошло, очки сове иметь нелишние. Глаза по поварешке, да вот беда — страдают совы близорукостью.

Вынырнула мышь из снеговой норушки. Только показала дрожащий носик, — цоп! Не промахнулась сова. И не глаза — огромные, налитые зеленым огнем, — навели ее на добычу, а уши. Слух у сов поистине бесподобен. Не потому ли и полет сов беззвучен? Мягко и рыхло оперение этих ночных птиц. Крылья подбиты пухом. Уже само оперение глушит звук совиного полета.

По опушке бора, широко расставляя длинные лапы, принюхиваясь, прошла пятнистая рысь. Подрагивают кисточки на ушах — слушает рысь тишину. У совы крылья на пуху, у рыси лапы на меху. Подушки рысских лап густо опушены шерстью, поэтому ход ее можно сравнить с совиным полетом. Да что — рысь! И у лисы зимой лапки подбиты шерстью, и лиса лишь летом босичком бегают.

Заковылял по поляне заяц. Снега белы, и он зимой бел. Бережется, боится собственной тени...

Вдруг шум, грохот... Кто осмелился бросить вызов тишине?

Зайчишка ухом не повел. Под шумок переметнулся через лунную поляну. Привстав на задних лапах, принялся грызть кору осинки.

Шли лоси — в шуме, треске. Ступали грузно, до земли вязли в снегу, выворачивая копытищами пласты мерзлой палой листвы. А как остановились, сразу пропали из глаз. Темная шерсть слилась с пятнами черной хвои, ноги — как белеющие стволы осин...

Один лось прилег в снег. И стал похож на муравейник — издали-то и не различишь!

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ

В ПРЕДУТРЕННЮЮ рань все спит — кого где оставили заботы. И зверь, и птица — каждый устроился, кто как мог. Стылый туман изморозью оседает на ветвях, на коре деревьев. Подул ветер. словно лишь затем, чтобы убаюкивающе прошуметь в хвое: «ш-ш-ш», «ш-ш-ш»...

По пословице, какова постель — таков и сон. Так вот: кто где спит?

Подо льдом на захламленном лесном ручье убежище норки. Само имя коричнево-бурого, в глянцеви-той шерстке зверька, кажется, подсказывает, где он находит ночлег. Норка и живет в норке! Пушистая подводница-норка поплавать не прочь, лапы у нее с перепонками. Поэтому выход из норы прямо в воду. Зима — время голодное. Что норке на зуб попадет, тем и сыта. Жук-плавунец — жука съест. Неповоротливый рак — и рака ей подай. Если голод приневолит, норка, за неимением чего другого, отведаст и водорослей. Не до жиру, быть бы живу. И обокрасть рыбачьи сети и ловушки — норке занятие знакомое. Не избегает она наведываться в курятники, если деревни близ водоема. Остатки обеда она прячет про запас. Тепла шубка зверька, но от морозов норка страдает. В холоде сутками не оставляет убежища, надеясь на свои кладовые.

Под землей обитель крота. Посмотреть на его лапы с длинными когтями... ну, страшнее крота зверя нет! Но лапки эти — с голыми мозолистыми ладошками, крепкими когтями — всего-навсего рабочий инструмент. Скажем, лопата. Крот роет норы, иногда длиной в километр и больше. В подземных ходах есть камеры для отдыха, есть спальни с постелью из сухих корешков и травинок. Как спит крот, наверное, никто не видал. А работает он... лежа на боку. Да, роет одной передней лапой, устанет, переворачивается на другой бок — и опять роет другой лапой.

Высоко на деревьях гнезда белки. Непримечательные с виду. Качается на ветвях куча хвороста, наваленного как попало, — вот и все гнездо. Однако внутри его улажено: выстлано перьями птиц, мхом, лишайниками. Тепло в нем: и зимой температура, как в протапливаемой комнате, достигает 20 градусов. Спит белка, свернувшись калачиком, с носом укрывшись пушистым хвостом. Иногда белка устраивает до трех десятков гнезд. Лесная резвунья-акробатка солидная домовладелица!

По дуплам спят дятлы. Спят как бы стоя, прицепившись лапками к стенке дупла и опираясь на жесткий хвост. Клюв, точно штык, направлен к входу в дупло. Непрошенных гостей дятел встречает доподлинно «в штыки»! Это за ним водится...

Как думаете, где всего теплее зимой?

Правильно, под снегом!

В снегу находят кров глухари, тетерева, рябчики. Им на открытом воздухе в стужу ночь провести — смерти подобно. Зимой что у них за корм: хвоя да почки, в снегу, заледенелые. Скучный корм, много в нем воды. Не спрячась глухари или рябчики на ночь в снег, то зобы в стужу замерзнут, пропадут птицы.

Стаями летают зимой тетерева, порой по сотне птиц. Спят же поодиночке, в снеговых лунках-копанках.

И серые полевые куропатки держатся сейчас стаями. Но на ночлег устраиваются вместе. Выбьют в поле снег лапками, тесно-тесно сгрудятся. Жмутся одна к другой. Мороз полевым куропаткам — лютый враг, поэтому и держат они против него оборону дружно, плечом к плечу.

ГОСТИНИЦА

СОЛНЦЕ было багрово-алым, небо голубым и прозрачным, и установилось то почти неуловимое равновесие, случающееся на закате, когда день уже не день, но и вечером это время как-то не влечет меня называть. Вот засмеркается, тогда извольте — вечер. А пока... Жаль вечеру отдать эти минуты, ведь день зимой и так короток! Между тем ели, в тени по самые макушки, замглились, зачернели хвойными лапами, лишь верхние их мутовки зеленели глянцевито и сизо. Полиловел снег. Изломы сугробов алели в отсветах заката. Одна снежная шапка на пне розовато белела, потому что на пень и смотрело солнце в просвет между деревьями. Стукнула в снег последняя капля с подтаявшей на пригреве хвойной нависи, и замерло все, притаенно умолкнув. Ночь обещала быть с ядреным морозом.

Я шел санной дорогой, и от того, что в лесу было завораживающе тихо и ельник чернел все плотнее, шаги мои убыстрялись, а слух ловил малейшие шорохи.

Вот кто-то пискнул — в толстой осине, ствол которой чернел круглым отверстием дупла.

Я приостановился и увидел: из дупла высовывается наружу птичий хвостик.

Чего ради птичка сидит в дупле хвостом наружу? Что еще за манера свой хвост на обозрение прохожим выставять! В конце концов это и неприлично.

Недолго думая, скатал я снежок и запустил им в осину. Ах, как звучно он шлепнулся — я даже сам вздрогнул.

И словно не успела ниже темной точки дупла обозначиться белая отметка снежка, из дупла так и брызнули птички. Одна за другой — что-то больше десятка.

«Эге, — подумал я, отступая под развесистую елку. — Да осина-то вроде гостиницы!»

Птички — это были синицы-гаички — врассыпную нырнули в гущу хвои и затерялись в ней. Они пищали. Корили меня за нарушенный покой. Собрались было ночь провести в тепле и уюте, а я их прогнал. Нехорошо!

Я стоял под елкой неподвижно и дождался, что синицы осмелели и начали возвращаться обратно в дупло. Сперва по одной, с опаской да оглядкой. Потом — сразу по трое-четверо. Перепирались, кому юркнуть в дупло. Спорили из-за теплых местечек, не иначе. И был в том резон, так как дупло не резиновое, на всех тесно. Последней, очевидно, самой нерасторопной или трусливой, гаичке опять досталось сидеть хвостом наружу. За швейцара.

Раз гостиница, то кто-то должен быть и швейцаром. На то она и птичья гостиница, чтобы у швейцара хвостик торчал наружу.

ПТИЧЬЯ БАНЯ

ПОВЕРХ льда на ручье выступила вода. Притаивало основательно. Оттепель!

Стороной пролетела стая ворон. Им задувало хвосты, вороны с усилием выравнивали полет, порой

сбиваясь в кучу, чтобы вновь рассыпаться поодиночке, и хрипло каркали и гонялись одна за другой. Закружили над ручьем... Шум, гам, галдеж! Скоро вороны унизали прибрежные березы. Перелетая с дерева на дерево, выглядели возбужденными донельзя, и вроде бы их стало больше. По-видимому, и до этой стаи на ручье было немало ворон. А вороны зря крылья мять не станут...

Заросли ивняка у ручья мешали обзору. Зато с изгороди весь плес был как на ладони, и я увидел паразитальное зрелище: у ворон шла баня! Снег был сплошь испещрен птичьими следами. Одни вороны бродили в лужах, плескались, приседая на грудь, чтобы пополюскаться всласть, в то время как остальные не спускали с них глаз и, топорща перья, орали во все горло. Или очереди ждали, требуя от купальщиц поторопиться, или обсушивались после бани на ветру. Купались вороны истоиво, вылезали из луж рассырешеньки, отряхались, роняя на снег капли, потом грузно поднимались на березы и там разбирали клювами, похоже — выжимали намокшие перья.

В стае ворон оказались галки. И они мылись в лужах поверх льда. Мойтесь не мойтесь — белее не станете!

Да из деревни подроспели воробьи... Добавили шуму. Как у них заведено, воробьи, перепархивая в ивняке, ссорились, кто-то кому-то и пух успел пустить. Нашлись из них смельчаки, что попадали в лужи. Ледяная вода быстро охлаждала их пыл. Воробьи оставляли лужи, взлетая прямо с воды и живо улепетывали в кусты, где не доставало ветром. Купались наспех, кое-как — лишь бы слава была, что купались! Да и то сказать: похолодало заметно. Однако один взъерошенный, чумазый после ночевки в печных трубах воробей долгонько-таки полоскался в луже. Он и распластывался в воде, и крылышками тряс, брызгая себе на спину, чирикал сипло и вызывающе задира! желтый, как просяное зерно, клювишко кверху — право, сам чёрт ему не брат! Шустр, боек — ничего против не возразишь. Отчаянная головушка!

Когда я поднимался в гору к деревне, воробьи меня обогнали. Замыкавший стаю воробушек вдруг с лету упал на дорогу и засеменил лапками, удирая, за-

тарашил на меня продувные свои глазенки. Смешной, со слипшимся хвостиком... Я подбежал и накрыл его шапкой. Попался! Воробей ущипнул меня за палец, царапался и верещал. Он был мокрым. Перышки смерзлись на лету, то он и обескрылел и угодил мне в шапку.

— Дурачок ты, дурачок, — посмеялся я. — Кто же тебя силком тащил в вороньей бане купаться? Ни за грош пропадешь!

Воробей вырвался, но уже молча: горло со страху перехватило. Я, отогревая его в ладонях, подышал на него, и он — черная неблагодарность! — клюнул меня в губу. Все-таки я промокнул ему перышки носовым платком: сырой после «баньки», охватит его морозом — враз околеет. Жалко же!

ОБХОДЧИЦА

ЗЕЛЕННЫЕ крыши мелькнули над кустами. Вагоны подергивались и гремели буферами. Чтобы сократить путь, я надумал выйти к полотну железной дороги не по лыжне, а напрямик — через болото. И раскаялся в своем предприятии. Лыжи не держали, проваливались, пришлось брести по колено в рыхлом снегу.

Не поднимаясь на насыпь, я огляделся. На телеграфном столбе — ворона. Ветер ерошил ее перья, задувал хвост. Э, да она сыром где-то раздобылась!

Ворона клевала ноздреватый тонкий ломоток, придерживая его черными лапками. Она сидела, похрапывая от удовольствия. Озиралась воровато, вертела носатой головой.

Вороне где-то бог послал кусочек сыру;
На ель ворона взгромоздясь,
Позавтракать уж было собралась,
Да призадумалась, а сыр во рту держала.
На ту беду лиса близехонько бежала...

— Послушай, ты лисы не видел? — смеясь, окликнул я путевого обходчика. Позванивая молотком по рельсам, он шел по шпалам.

Обходчик — пожилой, в ватной стеганке и валенках — буркнул что-то невразумительное.

Я вышел ему навстречу, угостил папиросой. Мы закурили, тем и завязали знакомство. Павел Алексеевич, узнал я, живет одиноко — километрах в пяти отсюда, прослужил на дороге тридцать лет и собирается на пенсию.

Он покосился на мое ружье и проговорил:

— А ты лису не трогай. Есть... есть тут и лиса! Учти, она вроде бы у нас в штате. Поезд без опозданий и встретит и проводит.

Под насыпью валялся тут и там выкинутый из вагона мусор — рыбы косточки, яичная шелуха, обрывки бумаги.

— Понятно, — кивнул я, — откуда вороне сыр достался!

— А я что говорю! — оживился Павел Алексеевич. — Уж которую зиму лисица у дороги кормится. Ну и вороны, сороки — тоже. А один раз охотники волка подстрелили, то в желудке у него нашли обертку из-под мороженого. Тихо! — он вдруг положил мне руку на плечо, мы оба присели. — Вон... вон она!

От столба к столбу неторопливо трусила лисица. Хвост держала бережно, будто на весу. Ах, и хвост — волосок к волоску, пушинка к пушинке, с белым наконечником! И как пылает ее алая шубка на белом сверкающем снегу!

— Вышла, — шептал Павел Алексеевич. — Поезд уж не пропустит. Тоже обходчица. А пусть ее, бегают. Все с ней веселее. Уйду на пенсию — и обход передам, и лису. Она ведь со стажем обходчица. Другой такой поищи.



СОДЕРЖАНИЕ

ВЕСНУШКИ

Капель	5
Веснушки	6
С поличным	6
Когда ежи поют...	8
«Серые»	9
Скворцы	15
Белкин колодец , ,	18
Рыбьи игры	19
В зеленое оконце	21
Мазай и зайцы	22
Тундра не принимает	25
Загадка «ку-ку»	26
Жор	29
Черношляпка	33

ГАМАК НА СОСНЕ

В краю непуганных птиц	37
Гамак на сосне	41
Бой у обрыва	43
Первый шаг	45
Сон в летнюю ночь.	46
Орлан	47
Щучий профессор	49
Кукушкины сапожки	53
Дикая утка	54
Заячья картошка	57

Плакучий барометр	58
Спаситель	61
Дозор в полях	63

НЕВИДИМКА В ЛЕСУ

В листопад	67
На просеке	68
Великое кочевье	70
Лакомка	72
Курорт под елкой	74
Тайна стрекозиного крыла	75
Пастухи	78
Невидимка в лесу	84
Чаруса	87
Коварная дудочка	91
Синичьи кладовки	93

БЕЛЫЕ СТРОКИ

Гвоздик	97
Шепот снегов	97
Синим следом...	99
Одна строка	101
Под зеленой крышей	103
Надина елка	105
Встреча на лыжне	110
Красава	117
Тишина	119
Плечом к плечу	120
Гостиница	122
Птичья баня	123
Обходчица	125

